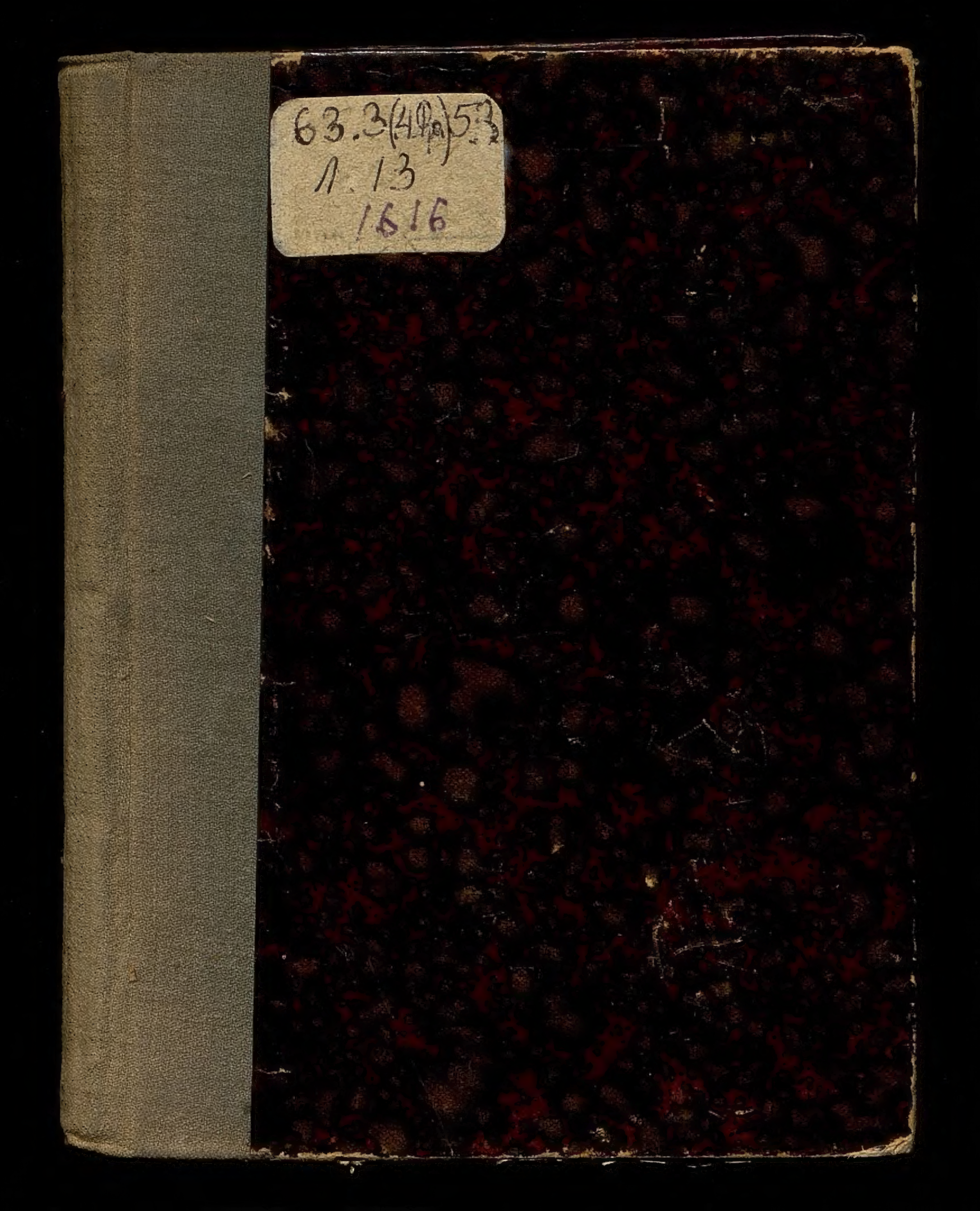
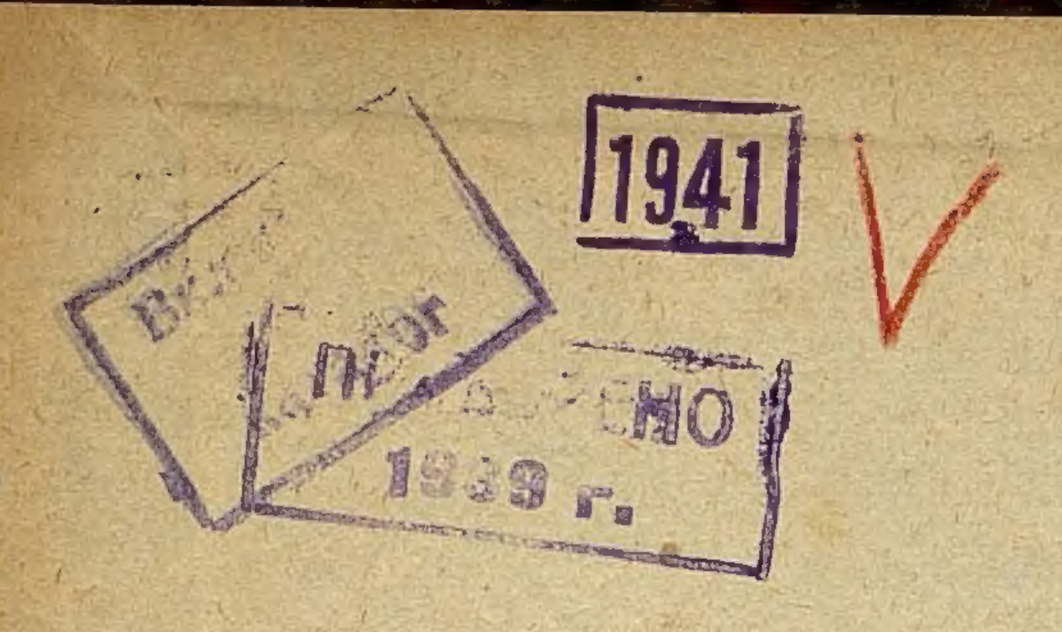



1941
ПРОВЕРЕНО
1939 г.

Р. С. Ф. С. Р. *Пролетарии всех стран, соединяйтесь!*



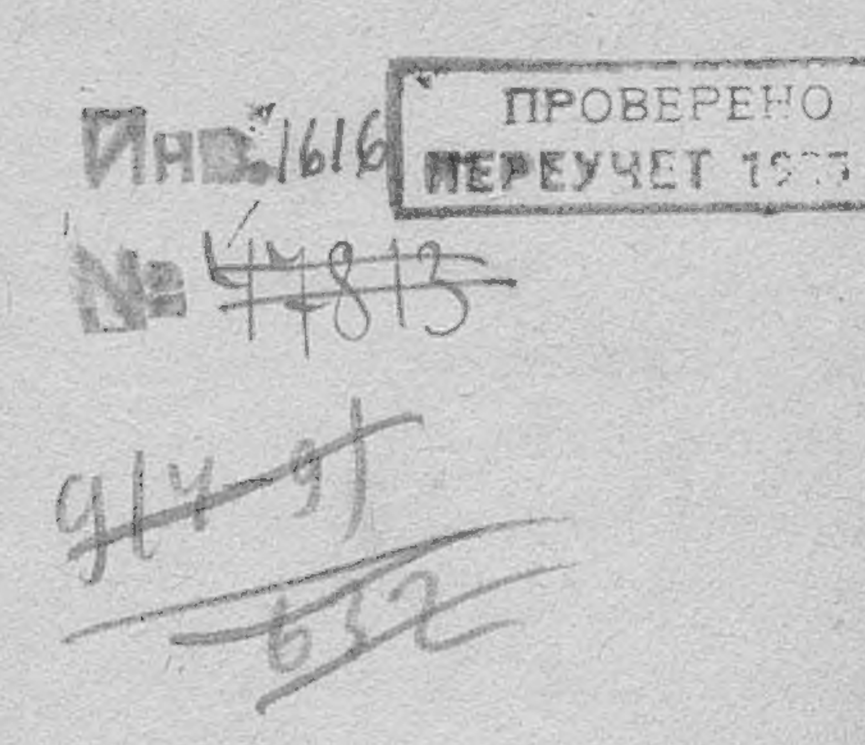
П. Л. ЛАВРОВ

ПАРИЖСКАЯ КОММУНА



18 марта 1871 года

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 1922

Гиз. № 2465. (Р. В. Ц. Москва.) 5.000 экз.

40 тип. М. П. С. Н. Х., г. Сергиев, Моск. губ.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ЧИТАТЕЛЯМ.

17 марта 1879 г. собралось у меня несколько русских, и я сказал по поводу Парижской Коммуны несколько слов, которые составили основу того, что я теперь предлагаю читателям. Впоследствии мне выразили желание, чтобы сказанное было напечатано. Я имел сначала в виду напечатать лишь то, что я говорил, но впоследствии мне захотелось воспользоваться случаем, чтобы обработать более полно и основательно то, что в продолжение полуторачасовой беседы могло быть изложено лишь в очерке, с устранением всяких цитат и в возможно-сжатой форме. Оставляя вступление и последние две главы почти совершенно так, как они были первоначально изложены, и сохраняя даже характер произнесенной речи в расположении целого, я принялся за переработку первой главы (Факты Парижской Коммуны) на основании всех доступных мне материалов. Не-

заметно для меня самого работа разрослась далеко за пределы, которые я имел в виду ей дать первоначально. Если читатели найдут, что она разрослась излишне, я признаю себя заранее виновным.

Я счел нужным указать источники, которыми пользовался, и приводить самые слова авторов, особенно тех, которые, как личные свидетели и участники событий Коммуны, могут заслуживать более других доверия. Но, для сбережения места, я не выписывал в тексте полных заглавий цитированных сочинений, заглавий, которые привожу здесь, чтобы объяснить употребленные мною сокращения.

Lefr.—„Étude sur le mouvement communaliste à Paris en 1871“, par G. Lefrançais; 1871, Neuchatel.

Mal.—„La troisième défaite du prolétariat français“, par B. Malon; 1871, Neuchatel.

Arn.—„Histoire populaire et parlementaire de la Commune de Paris“, par Arthur Arnould; 1878, Bruxelles.

Liss.—„Histoire de la Commune de 1871“, par Lissagaray; 1876, Bruxelles.

Lanj. Corr.—„Histoire de la Révolution du

18 Mars", par Paul Lanjalley et P. Corriez; 1871, Paris.

Fiaux.—„Histoire de la guerre civile de 1871", par Louis Fiaux; 1879, Paris.

„3me Congr."—„Troisième Congrès de l'Association Internationale de travailleurs". Compte rendu officiel, 1868, Bruxelles.

„4me Congr."—„Comte-rendu du IVe Congrès International tenu à Bâle en Septembre 1869"; 1869, Bruxelles.

„3m Proc." — „Troisième Procès de l'Association Internationale des travailleurs à Paris"; Juillet 1870, Paris.

„Enq. 4 Sept."—„Enquête parlementaire sur les actes du gouvernement de la défense nationale"; 1872.

„Enq. 18 Mars". — „Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 Mars"; 1872, Versailles.

„Mur. Pol."—„Les Murailles politiques françaises"; 1874, Paris.

„On the War".—„The General Council of the International Working-men's Association on the war".—I. 23 July 1870. II. 9 Sept. 1870, London.

„Civ. War". — „The civil war in France". Address of the General Council of the Intlernational Working-men's Association; 1871, London.

„Homm. et Ch. de la Comm.“—„Hommes et hoses du temps de la Commune“; 1871, Paris.

Считаю достаточно ясными указания на разные журналы, которые мне пришлось цитировать; замечу только, что статья М. А. Бакунина в „Общине“, которую я цитировал, ни разу не назвав ее, напечатана в №№ 5, 6 и 7 „Общины“, под названием: „Парижская Коммуна и понятие о Государственности“.

П. Лавров.

Париж,
28/16 сентября 1879 г.

НАШЕ СОБРАНИЕ.

Мы сошлись сегодня, чтобы вместе вспомнить о Парижской Коммуне 1871 г. Я позволил себе прервать наши беседы об истории XVIII века, чтобы обратиться, хотя бы с небольшою группою слушателей, к воспоминанию об эпохе, мысль о которой заставляет волноваться не только парижан, переживших и день провозглашения коммуны, и кровавую неделю; не только французов, которые считают десятками, если не сотнями тысяч, своих братьев и товарищей, потерпевших тяжелую кару и разорение за эти 72 дня общественной независимости, но составляет торжественное воспоминание для всех групп пролетариата, затронутых растущею волною рабочего социализма, остается ярким метеором и для всей мыслящей Европы. Мне напомнили, что до сих пор еще ни разу русские в Париже не приветствовали по-русски этот торжественный день. Искренно желаю, чтобы в будущие годы подобное собрание имело место по общественной инициативе и не в тесной комнате небольшой частной квартиры. Теперь приходится примириться с неудобствами этого собрания,

Но есть ли в этом случае для чего сходиться русским людям? Русские неохотно думают о прошлом, не охотно останавливаются на торжестве мертвых; они говорят часто, что их дело—дело жизни, и что им некогда и нечего вспоминать: это только задерживает стремление к будущему. Многие русские говорят, что у них *особое* дело, и как никто из европейских деятелей не пойдет помогать горю серого русского мужика, то и нам нечего останавливаться на воспоминании о героях, которые умирали под всемирным красным знаменем при звуках всемирного гимна Марсельезы, при приветах или проклятиях всего цивилизованного мира: они должны концентрировать свою мысль, свои силы, свою деятельность на бедном батраке, у которого нет знамени, нет возбуждающего народного гимна; на мужике, который уже долгие годы умирает хронически с голоду, умирает в острогах, умирает под пулями усмирителей и едва удостоивается нескольких строк в телеграммах или в faits divers самой передовой прессы гордой и чуждой ему Европы. Нам, говорят, нечего праздновать *их* праздники, нечего прислушиваться к *их* речам, нечему у *них* учиться. У нас будут *свои* праздники, которые мы когда нибудь отпразднуем, но теперь надо готовить возможность когда-либо отпраздновать их. У нас *свои* речи, которые мы еще не высказали. Перед нами *свои* задачи науки, задачи познания того народа, из которого мы черпаем все наши силы, которому должны посвятить все наши заботы, так как все, что мы

выработали в себе, все наши знания, вся наша культура добыта трудами, оплачена страданиями этого народа.

Но точно ли нам нечему научиться у Парижской Коммуны?—Я не употребляю здесь термин *научиться* в смысле отвлеченной жизни науки. Конечно, всякий надлежащим образом понятый факт жизни человечества есть уже приобретение, и те, которые собраются сюда слушать мои беседы о временах более отдаленных, тем самым доказывают, что они согласны с этим положением. Но лишь та наука имеет человечное значение, которая нераздельна от жизни. и когда я поставил вопрос: точно ли нам нечему учиться у Парижской Коммуны? когда я припомнил вчерашний факт, после которого еще кровь не обсохла, раны не закрылись, я спросил, в сущности: нет ли для нас *жизненных* уроков, которые мы могли бы почерпнуть из этого исторического эпизода?

Мы... Но кто же это „мы"?—Я вовсе не рассчитываю на то, чтобы в сегодняшней аудитории я имел около себя исключительно убежденных социалистов-революционеров. Здесь могут быть также русские социалисты, которых еще пугают кровавые картины, связанные с термином: революция. Здесь могут быть люди, проникнутые желанием блага народу русскому, проникнутые симпатиями к героизму русской молодежи, но еще слишком скованные традициями и привычками либерализма, чтобы признать, что социализм, и именно рабочий, революционный

социализм, представляет единственный возможный путь для достижения человеческого существования рабочим классом, т. е. большинству человечества. Я обращаю мои слова не исключительно к единомышленникам моим, но и к лицам, которых, расходясь с ними в частностях понимания социально-революционной задачи, я тем не менее признаю товарищами по социально-революционному делу. Я обращаюсь ко всякому, кто сознает, насколько он обязан народу русскому в прошедшем и настоящем за всякое благо материальное и умственное, которым пользуется; ко всякому, кто считает своею обязанностью посвятить свои мысли и свои силы русскому народу и средствам для его вывода из его нынешнего тяжелого положения; ко всем истинным демократам, которые искренно хотят блага массам и искренно ищут действительных путей для помощи этим массам. Из слова „мы" я исключаю лишь тех, которые служат личным или сословным интересам, которые признают, что большинство должно страдать для увеличения блага меньшинства, что массы обречены фатально на труд для выработки цивилизации, которою могут пользоваться и наслаждаться немногие. Если здесь есть кто-либо, принадлежащий к этой категории личностей, то он пришел напрасно: для него всякое слово, которое будет здесь сказано, есть бессмысленное слово. Его место не здесь.

Постараемся же извлечь жизненные поучения из того, что нам дает недолгая история Парижской Коммуны 1871 года.

Я ставлю три вопроса, на которые постараюсь ответить коротко, так как время не позволяет длинного развития:

1. Чем была Парижская Коммуна 1871 г.? 2. Что дала эта Коммуна европейской цивилизации и в особенности России в истекшие 8 лет? 3. Какие поучения можем извлечь из нее мы?

I. Факты Парижской Коммуны.

1. Материал.

Парижская Коммуна была фактом, слишком сильно возбудившим страсти и победителей, и побежденных, чтобы верная история ее была до сих пор возможна. Нечего уже говорить о том, что для ее противников было почти немыслимо понять комбинации внешних фактов ее течения, тем более проникнуть до настоящего смысла этого движения. Но и участники этого движения могли видеть и частью знать, частью угадывать лишь долю того сложного целого, которое развивалось около них и увлекало их. Объективная, бесстрастная история Коммуны не только невозможна, потому что едва ли есть человек, знакомый с событиями, который не стал бы неизбежно, в глубине души, на ту или на другую сторону в этом столкновении, но подобная история была бы и совершенно не верна, потому что смысл подобных событий может быть восстановлен лишь тем, кто в состоянии собственным аффектом проверить и оценить аффекты общественной борьбы; тем, кто может отнестись к борющимся элементам

не во имя отрывочных приговоров обыденной рассудительности о частных ошибках и увлечениях, но во имя того идеала общественной нравственности, который комбинирует полное признание фатального подчинения всех личностей общему движению исторической волны с признанием для каждого момента истории *одного* пути к лучшему будущему, *одной* светлой точки в этом будущем, распределяющей свет и тени на все события, на все личности. Настоящее накопляет лишь материал для будущей истории Парижской Коммуны, и в этом отношении заметки ее участников (Арну, Лефрансэ, Малона, Лиссагарэ), официальные документы, обнародованные ее противниками (Enquête parlementaire), и многочисленные более или менее связные или отрывочные, краткие или обширные рассказы лиц, интересовавшихся ее ходом и частью бывших свидетелями событий (из связных рассказов лучше других Коррьеза и Ланжаллэ) [1]), представляют уже весьма интересные данные. Я постараюсь воспользоваться теми данными, которые у меня находятся под рукою, нисколько не надеясь устранить неизбежные в настоящем положении материалов ошибки как относительно фактов, так и относительно людей; но употреблю все усилия, чтобы следовать наиболее верным указаниям и угадать наиболее истинные отношения между фактами среди указаний, часто

---

[1]) Очень недавно вышел новый труд, заслуживающий внимания, Фiò (Fiaux).

противоречивых, которые представляет существующий материал. Мои личные наблюдения слишком незначительны, чтобы они могли играть важную роль в моем изложении; тем не менее мне кажется, что, быв на месте, я могу дать себе и моим слушателям довольно стройный отчет о психическом настроении в некоторые моменты недолгой жизни Коммуны. Я видел утром 18 марта сцену отступления или скорее бегства войск с Монмартра через площадь Клиши. Я присутствовал 28 марта при провозглашении Коммуны на площади ратуши. Я видел впечатление того нравственного удара, который нанесла Коммуне страшная ошибка вылазки 3 апреля. Я видел около себя постепенное истощение сил, на которые опиралась и могла опираться Коммуна, видел приближение ее неизбежной гибели. Тем не менее, я мог видеть и наблюдать весьма немногое и почти всегда буду опираться на свидетельства лиц, стоявших близко к делу и несших на себе ответственность среди грозных и крайне сложных обстоятельств. Я не имею в виду дифирамб в честь события, которое само-по-себе достаточно врезалось в современную историю. Я не имею в виду и его апологию, в которой оно не нуждается. Я вовсе не ослеплен кровавым блеском этого события. Знаю недостатки людей, в нем участвовавших, фатальные бедствия, которые влекло за собою самое положение. Я твердо знаю, что в истории кумиров иметь не должно, и что кумиры, даже революционные, всегда имели лишь самое бедственное влияние;

именно история Парижской Коммуны 1871 г. может представить этому самые поразительные примеры. Я весьма далек от того, чтобы в моем кратком очерке поставить эту коммуну на поклонение революционерам-социалистам. Я сказал уже, что моя главная цель—извлечь из ее течения практические поучения. Поэтому и в изложении событий я ограничусь лишь тем, что постараюсь в главных чертах характеризовать ход событий, из которых нам предстоит извлечь урок для настоящего и для будущего.

2. Империя и Интернационал.

Июньские дни 1848 года образовали между парижской буржуазией и парижским пролетариатом пропасть, которая никогда с тех пор не заполнялась. Движение, подобное июльскому 1830 г. или февральскому 1848 г., сделалось невозможно. Это оказалось вполне очевидно, когда на очередь в политике Франции стал спор о власти между президентом и собранием, между цезаризмом и либералами; весьма незначительная доля рабочего населения приняла участие в борьбе либеральной буржуазии против возникающей империи. С другой стороны, империя постоянно старалась подчеркнуть, что она опирается на массы против меньшинства либералов; что ее поддерживают 7 миллионов голосов, которым она возвратила отнятое у них либеральною буржуазией всеобщее право голосования. Хотя в этом случае

имелось преимущественно в виду французское крестьянство, с начала века потерявшее всякий политический смысл и всякое политическое значение, но империя пыталась привлечь на свою сторону и городской рабочий пролетариат. Недаром новый император был, во время своего изгнания, автором „Extinction du Prolétariat“, где сравнивал рабочих с „илотами“ и высказал мысль, что „бедные перестанут бунтовать, когда богатые перестанут притеснять их“. Сначала империя преследовала все рабочие союзы безразлично, как центры демократической агитации, и из многочисленных ассоциаций, возникших в 1848 г., пережили декабрьский переворот и учреждение империи весьма немногие. Но уже в 1849 г., под руководством благотворительного общества, стали группироваться те „белые блузы“, которые находились в тесной связи с полицией империи и сами служили центром групп рабочих, считавших в своих интересах поддерживать империю. Обширные общественные работы в Париже и других городах империи искусственно поддерживали заработки и связывали, повидимому, интересы рабочего класса с ее существованием. С 1863 г. началась организация рабочих обществ под влиянием императорской администрации. „Кредитное общество для труда“, „Учетная касса народных ассоциаций“, „Касса кооперативных ассоциаций“, „Общество гражданских инвалидов труда“ и другие, тому подобные учреждения, были основаны в 1863—1867 годах. В 1866 г. в Париже снова

существовало до 74 разных рабочих союзов (взаимного кредита, потребительных, производительных). В мае 1864 г. прошел, по докладу Оливье (впервые тогда явно перешедшего на сторону императорского правительства), закон, дозволявший стачки рабочих. Но это движение, возбужденное империей для своей поддержки, ввиду растущей оппозиции, совпало с крайним ослаблением энергии в императорском правительстве вследствие смерти наиболее талантливых деятелей декабрьского переворота и болезни самого императора, так что обширный и трудный план— связать существование империи с развитием рабочего класса—ускользнул из рук тех, которые положили начало его исполнению.

В то же самое время (1864 г.) организация Международной Ассоциации рабочих дала новый и энергический центр рабочему движению и центр уже вполне оппозиционный. Весною 1868 г. прошел закон о дозволении публичных собраний, так долго запрещенных, и ровно через 20 лет после того, как восстание парижского пролетариата было подавлено буржуазией, 28-го июня 1868 г. открыто было мирными профессорами политической экономии первое публичное собрание в Париже, на котором немедленно выступили на первый план вопросы социализма. Через три месяца эти собрания существовали в огромном числе в разных частях Парижа, и если прения о политике и религии были запрещены, то самые жгучие вопросы существующего общественного строя подвергались открытому

обсужденію в два года, прошедшие от 28 іюня 1868 г. до 4 сентября 1870 г.: положеніе женщины в современном обществе; организація семьи согласно современным юридическим и нравственным понятіям; отношенія между капиталом и трудом; преобразованіе банков; организація обмена и кредита; справедливое распределеніе налогов; современная организація общественной благотворительности и ее противники; критика судебных учрежденій; разбор существующей системы наказаній и т. п. (Lefr. 40). Сначала явно-демократическій и политически-оппозиціонный характер этих собраній вызвал в них недоверіе к участникам существующих ассоціацій и к приверженцам Интернаціонала, в которых подозревали (особенно по инсинуаціям или явным наущеніям либералов) сторонников имперіи; но скоро эти подозренія разсеялись, и наиболее известные члены Интернаціонала стали самыми вліятельными ораторами этих собраній. Когда администрація имперіи подметила, что рабочее движеніе ускользает от ее вліянія и переходит в руки интернаціоналистов, начались преследованія Интернаціонала.

Как известно, он сначала заявил весьма мирные стремленія. Если его основным догматом было „освобожденіе рабочих усиліями самих рабочих“ и для этого соглашеніе и организація рабочих всех стран, то, защищаясь от своих противников, интернаціоналисты говорили, что они хотят употребить для своих целей „лишь мирныя средства, так как опыт

доказал, что насилие ни к чему не ведет". „Мы не занимаемся политикой", говорили они. „Мы трудолюбивые рабочие и видим, что, несмотря на все наши усилия, наше положение все ухудшается. Мы ищем мирных путей для его улучшения". Еще на Базельском конгрессе (1869) Фрюно говорил, „что он отвергает революционный путь" потому именно, что он француз и знает по опыту, что революции всегда совершаются в пользу врагов пролетариата (4me Congr., 88). Но эти мирные заявления, если и были искренни со стороны некоторых личностей, за то для других, особенно для всех понимавших действительное положение дел, могли быть лишь щитом от могучих врагов. Уже на Брюссельском конгрессе (1868) бельгиец Стэенс говорил, что, при настоящем положении дел, вопрос может быть решен лишь „путем низвержения всех тиранических государственных учреждений. Мы апеллируем к социальной войне. Лишь революция решит вполне вопрос; до тех пор все наши усилия могут дать лишь отрицательные результаты" (3me Congr., 19). „Мы именно хотим революции", говорил там же будущий член коммуны, Лонге, по поводу вопроса о банках (там же, 34). Конгресс этот кончился речью делегата Генерального Совета, в которой было сказано: „Революции 1830 и 1848 годов были революциями лишь *формальными*, а не *основными*, между тем как надо изменить самые основы общества; истинная почва революции есть вопрос социальный... Мы хотим низвергнуть не тиранов, но самую тиранию...

Мы не хотим более правительств, так как правительства нас подавляют налогами; мы не хотим более армий, так как армии нас избивают; мы не хотим более религий, так как все религии душат мысль“ (там же, 50). Базельский конгресс (4-й) был первый, где стало обязательным, чтобы все присутствовавшие на нем делегаты принадлежали Интернационалу (Заявление Мюра на процессе 1870 г. 3^{me} Proc. 228), и он принял самое решительное положение по вопросу политики. В первом же привете, которым встретил членов Базельского конгресса президент базельских секций, раздались слова: „Будем трудиться для создания народного государства, потому что прежде всего надо, чтобы народ взял в свои руки правление... Остается узнать, возможно ли нам будет совершить предположенные нами реформы мирным путем... Мы ведем войну не с лицами, а с принципами и учреждениями, которые представляют результат нынешнего общественного строя“ (4^{me} Congr., пред. VIII). На втором же заседании бельгиец Гинс резюмировал так задачу рабочего движения: „Интернационал должен быть государством в государствах: он предоставит последним итти своим путем, пока наше государство не будет сильнее их. Тогда, на развалинах их государств, мы устроим наше, совсем готовое, как оно уже существует в каждой секции“ (там же, 7). Он же сказал позже: „Лишь насилие подавляет захваты насилия“ (там же, 85). На этом же конгрессе слова Бакунина о необходимости революции вызвали при

веденное выше отрицание Фрюно, и официальный отчет конгресса резюмирует так конец речи Бакунина: „Оратор требует разрушения всех территориальных и национальных государств и учреждения на их развалинах международного государства миллионов рабочих,—государства, учреждение которого составляет дело Интернационала“ (там же, 80).— Сознание необходимости насильственных политических приемов было сильно и во Франции. „Как вы хотите,—писал Варлен 8 марта 1870 г. приятелю,— чтобы я стал менее революционером в присутствии подобного положения дел, которое как бы становится с каждым днем даже все серьезнее... Но вы ошибаетесь, если думаете хоть на одну минуту, что я пренебрегаю социалистическим движением для политического. Нет, я продолжаю дело революции лишь с точки зрения политико-социалистической; но вы должны понимать, что мы не можем ничего сделать в области социальной реформы, пока старый политический строй не будет уничтожен... Если, ввиду серьезности современных событий, партия позволит себя убаюкивать отвлеченной теорией социалистической науки, очень возможно, что, проснувшись в одно прекрасное утро, мы увидим, что попали под власть новых повелителей, более опасных для нас, чем наши нынешние повелители, потому что они будут моложе, а потому и сильнее, и могущественнее“.—Клюзерэ писал в предыдущем месяце Варлену: „Вы правы, когда говорите, что мы восторжествуем непременно, если будем упорно стремиться

к успеху путем организации. Но не будем упускать из вида, что цель организации — солидарность большинства в виду действия... Конечно, не следует жертвовать нашими идеями политике, но было бы бедствием, если бы эти идеи оторвали нас от политики, даже временно... В этот день (когда падет империя) мы должны быть готовы физически и нравственно. В этот день выбор должен быть лишь между двумя решениями: мы или ничтожество!.. Париж будет наш или Париж не будет существовать". — Бастелика требовал, чтобы парижская федерация рабочих, создав серьезный центр, сделалась „фокусом социальной революции"; Интернационал был для него „подготовителем мастеров революции". — В Лионе 16 января 1870 г. женщины, принадлежавшие Интернационалу, обращались к молодым людям, призываемым на службу 1870 г., со словами: „следует протестовать не напрасными заявлениями, но революционным актом, отказом от конскрипции". — Комбо на публичном собрании 19 апреля заявил: „Интернационал подчинялся тяжким законам необходимости: он молчал до того дня, когда мог сказать: „мы не хотим империи!" и уже несколько лет это его самый резкий крик... Надобно высказать громко, раз навсегда, что мы хотим социальной республики со всеми ее последствиями". И в манифесте, помещенном в республиканских газетах и подписанном главными интернационалистами Парижа, Варленом, Малоном, Комбо, было сказано: „Реакционеры не должны заблуждаться: если бы дело шло

лишь о том, чтобы подставить наши груди под пули, мы не поколебались бы ответить на их постоянные вызовы; но всего важнее—обеспечить успех революции, и, полные сознания наших сил, мы выжидаем. Чаша наполнена до краев; она скоро перельется. Революция сама выберет свой час“.—К сожалению, именно этот выбор „своего часа“ почти никогда не удается, и приходится быть „готовым физически и нравственно“, когда „час“ кажется еще довольно отдаленным.

Успехи Интернационала во Франции были довольно быстры. В 1864 г. в Лондоне положено ему основание; в 1865 г. начинается во Франции ряд стачек; в 1866 г. между различными рабочими корпорациями возникают солидарные связи ввиду усиливающихся стачек; в 1867 г., кроме больших стачек в Париже, в Амьене, в Марселе и беспорядков в Рубэ, происходит явный обмен манифестов между рабочими Франции и Германии, а 4-го ноября происходит крупная демонстрация против посылки французских войск на помощь папе. – На конгрессе в Лозанне, где было принято решение, что „общественное освобождение рабочих нераздельно от их политического освобождения“, присутствовало несколько представителей Франции (из будущих членов коммуны—Лонге).—В 1868 г. правительство империи вздумало бороться с растущею силою Интернационала, но, как обыкновенно в подобных случаях, придало тем новому движению еще более значения и силы. 6-го марта 1868 г. призван к суду парижский коми-

тет Интернационала и объявлен распущенным, а 22-го марта осуждена комиссия (к ней принадлежали Варлен и Малон), которая продолжала сношения с разными группами. Но правительство империи играло двойную игру, так как в то же время, в сентябре 1868 г., Оливье, сделавшийся одною из главных опор падающей империи, писал рабочим: „Ваша цель—устроить корпоративный союз, прежде чем вы приступите к кооперативной ассоциации, так как первый, по вашему мнению, должен служить вступлением во вторую и гарантией ее успеха. Я ничего не имею против этого... Развитию ваших прав и вашей инициативы существовало четыре препятствия: 1) ваше устранение от политической жизни; 2) наказания, грозившие за стачки; 3) запрещение публичных собраний; 4) запрещение союзов, заключающих более 20 человек. Первое препятствие пало в 48-ом году. Я имел счастие разрушить второе и содействовать ослаблению третьего; остается завоевать право ассоциаций. Концентрируйте все ваши усилия на этом пункте... Когда вы его достигнете, вы будете господствовать над вашим положением“ (3 Pr., 125).—Конечно, при этих условиях, энергия агитаторов Интернационала не слабела. Особенно Варлен направил свою деятельность на восстановление организации, осужденной в марте 1868 г. В следующие 2 года его корреспонденция охватывала всю Францию; он сам является в Руане, в Марселе, в Лионе. Этому же много содействовал Малон. Осуждение парижского комитета

лишь помогало агитации.. „Многие рабочие,—говорил впоследствии Варлен в Базеле (4me Congr., 67),—вовсе не интересовались нашей ассоциацией до нашего осуждения; после этого они являлись с просьбою примкнуть к ней, если это было еще возможно. Для всех рабочих ассоциация продолжала существовать; представление о ней распространялось и утверждалось в массах точно так же, как в мнении освобожденной буржуазии“. Еще ранее, на Брюссельском конгрессе 1866 г., Толэн, выражавшийся очень сдержанно и готовый признать, что в это время Интернационал „умер в Париже“, что его положение там „было всегда очень затруднительно“, утверждал однако, что если Ассоциация „перестала там существовать официально, если мы не можем там существовать, как коллективное целое, тем не менее каждый из нас остается членом великой Ассоциации“ (3me Congr., 2). — На конгрессе было прочитано письмо из тюрьмы Сент-Пелажи, подписанное заключенными членами Интернационала (в том числе Варленом и Малоном), где было, между прочим, сказано: „Мы твердо решились продолжать наше дело каждый отдельно, так как теперь нам невозможно действовать коллективно“.—Толэн от имени французских рабочих заявил, что они „не занимались и не хотели заниматься“ той политикой, которая заключается „в смене министров, королей, президентов республики“, но что их политика заключается в том, что они „занимаются общественными вопросами, борются против системы постоян-

ных армий и поддерживают стачки". Французские рабочие решительно протестуют „против войны, которая всегда служила лишь на пользу тиранам и во вред свободе народов".

Интересно, конечно, обратить внимание на отношение французских и, особенно, парижских социалистов в эту эпоху к вопросу о личной или общественной поземельной собственности, самому основному из вопросов социализма. Этот вопрос, эпизодически поднятый на Лозаннском конгрессе, составил важный элемент прений Брюссельского и Базельского конгрессов; в обоих, как и следовало ожидать, большинство мнений было на стороне коллективной поземельной собственности [1]), но в Брюсселе, хотя записка, присланная из Руана, высказывалась за коллективную поземельную собственность (впрочем, с вознаграждением нынешних собственников), все французские делегаты, говорившие по этому вопросу, были против коллективной собственности, хотя иные воздержались от голосования на том основании, что этот вопрос не мог быть достаточно разработан перед конгрессом. В Базеле, из 55 делегатов-французов, участвовавших в голосовании, только 11 (между ними Варлен и Дерэр—члены будущей Коммуны) подали голос за коллективную

[1]) В Брюсселе 30 против 4; 15 человек воздержалось (3me Congr., 41). В Базеле *право* отменить личную поземельную собственность признано 54 голосами против 4: 13 человек воздержалось. *Необходимость* обратить землю в коллективную собственность признана 53 голосами против 8; воздержалось 10 (4me Congr., 89—90).

собственность. Будущий член Коммуны Пенди (Pindy) подал голос за личную поземельную собственность. Он стоял особенно за учреждения обществ сопротивления, по вопросу о которых и был докладчиком.

Таким образом, из предыдущего можно видеть, что организация Интернационала во Франции до 1869 г. не особенно содействовала усвоению большинством членов его самых основных экономических принципов социализма. Тем не менее, как организация, подготовлявшая „солидарность большинства для действия“, она делала видимые успехи. На них мог указывать Варлен в своем докладе Базельскому конгрессу. Еще в начале 1869 года началась агитация относительно рабочих кандидатур, чтобы заявить отделение рабочих от буржуазии (письмо Варлена от 8 января 1869 г.).Весьма энергически велись стачки, и на одну из них (парижских сыромятников) одни парижские рабочие общества истратили в 1869 г. 51.000 франков (письмо Варлена 2 декабря 1869 г.). В мае был принят проект федеральной палаты (chambre fédérale) для объединения французских рабочих обществ. Собрания по этому поводу были временно запрещены правительством, и это вызвало печатный протест (12 сент.) делегатов рабочих обществ. „Мы не можем долее переносить,—говорилось там,—положение обманутых, при котором на нас, работников, возлагаются все обязанности, тогда как все права предоставлены лишь избранным. Убежденные, что никто не может ограничить круг наших исследований и нашего дей-

ствия, мы громко требуем, как первоначальное, неотчуждаемое наше право, право собираться и составлять ассоциации, безо всяких ограничений, и заявляем, что мы намерены продолжать обсуждение проекта нашей федерации всеми средствами, какими мы можем располагать".—В начале декабря парижская федеральная палата уже существует (офиц. извещение Варлена лионцам). В конце года основана „Марсельеза", обеспеченная именем Рошфора, но вызванная потребностью „укрепить и поддержать революционный социализм". „Самые преданные социалисты,—писал Варлен от 25 дек. 1869 г.,—особенно же члены рабочих обществ, обсуждали в частном собрании условия, в которых зарождался журнал. Миллеру, избранному директором, поручено в то же время социалистическое направление журнала. Это направление есть то самое, которое утверждали почти единогласно делегаты Интернационала на Базельском конгрессе, т.-е. коллективистический социализм, или анти-авторитарный коммунизм. Основатели журнала имеют в виду не только ведение пропаганды, но еще соединение всей европейской социалистической партии, путем журнала, постоянных сношений между всеми группами, одним словом подготовление социальной революции в Европе". Дело об убийстве Виктора Нуара, стачка в Крезо, арест Рошфора вызвали общественное возбуждение, которым умели воспользоваться Варлен, Малон и немногие, более деятельные агитаторы. В марте 1870 г. в Париже существо-

вало 13 секций Интернационала, в апреле—25 (Письма Варлена от 2 марта и 20 апр.). Агитация еще усилилась по поводу майского плебисцита 1870 года. „Марсельеза“ 11 апреля печатала воззвание лондонской французской секции Интернационала (впрочем не имевшей общения с Генеральным советом), где, между прочим, было сказано: „Плебисцит, предложенный империею французскому народу, есть лишь ловушка. Мы не можем подавать голоса ни за парламентарную, ни за авторитарную империю“. Мюльгаузенские рабочие напечатали там манифест, заключающий воззвание: „Вперед! нечего оглядываться назад и война с капиталом! Наш девиз — освобождение рабочего“.—В зале „Марсельезы“ 19 апреля федерация парижских секций была официально учреждена, и на этом собрании Варлен говорил: „Интернационал уничтожил предрассудки, разделявшие народы... Мы призываем всех страждущих и борющихся. Мы—сила и право... Наши усилия должны быть направлены против юридического, экономического и религиозного строя“.—Манифест парижских федерированных секций и федеральной палаты заключал в себе требование: радикального изменения налогов, отмены конскрипции, безусловной суверенности для народа и утверждал всемирную социальную республику. В это время число лиц, примкнувших к Интернационалу, во Франции доходило до 245.000 (3me Proc., 64) [1].

[1]) Лорье, в своей защитительной речи говорит о 600.000 и даже 700.000, но это конечно, адвокатское преувеличение.

Но именно люди, наиболее горячо заботившиеся о торжестве программы Интернационала во Франции, должны были сознаться, что организация социализма там еще очень слаба. В конце 1869 г. Варлен писал: „Я должен вам сказать, что в наших собраниях мы почти единогласно признали, что мы еще не готовы для революции, что нам нужен еще год, или, может быть, два, для сильной пропаганды путем журнала, публичных или частных собраний и организации рабочих обществ, чтобы достигнуть господства над положением и быть уверенными, что революция не ускользнет из наших рук в пользу республиканцев не-социалистов“. События при похоронах Виктора Нуара еще более обнаружили отсутствие подготовки. Бастелика писал из Марселя: „События дня заставили нас подумать о недостатке соглашения между группами партии... В то время как парижане стояли массою, готовою хлынуть, мы были почти спокойны, и руководством нам служили лишь известия Agence Havas“. Но и в Париже было не особенно лучше. Варлен пишет, что делегаты федеральной палаты не собрались вовсе и между ними не было соглашения. „Здесь также мы были захвачены врасплох. Едва конституированная федеральная палата... еще не занималась вопросом о положении, которое ей следует занять, или о своей деятельности, в случае

Малон в своей „Histoire du socialisme“ и Фрибур в своих показаниях пред следственной комиссией (Enq. II, 573) говорят тоже круглым числом о 200.000.

движения... Это положение дел нас взволновало... Если случай представится снова, то мы не должны подвергаться возможности, что одни из нас будут драться и допустят истребить себя, тогда как в другом месте не будут думать о борьбе. С этих пор мы будем совещаться и действовать сообща".—Он все еще надеялся, что революция может „выбрать свой час". Близость революции чувствуется всеми. В феврале 1870 г. ходит по секциям петиция Генеральному Совету Интернационала, требующая более тесной связи его с центрами возможного революционного взрыва. „Самые серьезные события могут ежедневно иметь место,—говорится там,—и чрезвычайно печально, что Генеральный Совет не находится уже давно в деятельной переписке с теми, которые будут выдвинуты в главу революционного движения... Мы должны быть постоянно и всюду готовы, при самом начале великой политической борьбы, которая приближается, заменить нынешнюю организацию государств, которые рушатся среди безумия, преступлений и беспорядков, новым общественным строем, основанным на равенстве и справедливости". „Империя существует только по имени",—пишет Варлен 8 марта. Между тем встречаются жалобы на многочисленность различных учений в социализме. „Увы!—пишет Бастелика,—позитивизм, коллективизм, индивидуализм!" А мы видели, что в среде самих делегатов на конгрессах Интернационала существовало весьма недостаточное единство усвоения самых основных вопросов социализма.

Надо было торопиться и уяснять себе програму действия, и скрепить организацию для действия. Но империя, существовавшая уже „лишь по имени“, видела опасность. Оливье решился прекратить двойную игру и нанести удар грозной растущей организации. За неделю до нового плебисцита (1 мая) „открыт“ был заговор против императора и к нему привлечены некоторые интернационалисты. Уже 5 мая Федеральный парижский совет обнародовал манифест, где признавал, что „Международная Ассоциация Рабочих есть постоянный заговор всех притесненных и эксплоатируемых“, но утверждал, что „Интернационал знает слишком хорошо, что страдания пролетариата зависят гораздо более от современного экономического положения, чем от случайного деспотизма каких-либо устроителей государственных переворотов, чтобы терять время на мечты об устранении одного из них“, и решительно отрицал всякую связь с аттентатом. Оливье побуждал прокуроров арестовать руководителей Интернационала по обвинению участия в тайном обществе. Некоторые из них (между прочим, Варлен) успели скрыться. Остальные явились пред суд, продолжавшийся с 22 июня по 5 июля. Обвинитель сразу потребовал от суда, чтобы в обвиняемых был поражен Интернационал, „это обширное и грозное предприятие, направленное против общественного строя, эта революционная сила, громко заявляющая свое намерение все захватить и все ниспровергнуть“. Главный мотив защиты, именно, что Интернационал

не есть тайное общество, отнимал часть интереса у речей обвиняемых; тем не менее, большинство их сумело заявить на процессе принципы Интернационала, основательность борьбы рабочих с капиталом и свою решимость остаться верными своему знамени. Адвокат Лорье (будущий спекулятор и друг Гамбетты) ловко выставил на вид, что этот процесс есть процесс из-за мнений, которые не разделяются „ни правительством, ни большинством противников правительства“, и сказал от имени обвиняемых: „Мы—мятежная партия (faction), которую называют пролетариатом, но мы не заговор. Мы, может быть, хотим революции, но мы не составляем заговора для ее осуществления“.—Этот процесс усилил значение Интернационала, показал решимость его членов, выказал его, как усиливающийся центр революционного движения во Франции, но он, в то же время, для внимательного наблюдателя, мог показать, как много еще оставалось работать этому центру, чтобы сделаться действительною общественною силою, с крепкою организацию, с определенною программою. Обвиняемые искренно сознавались, что именно „недостаток организации“ мешает им осуществить ясно заявленную ими цель: „всемирную социально демократическую республику“. Для указания же недостаточной выработки теоретического единства в их среде, достаточно указать факт, что из семи *главных* осужденных было трое мютюэлистов (Печди, Мюра и Элигон, к тому же несогласные и между собою). „Каждый из нас, —го-

ворил на процессе Комбо,—сохраняет свое мнение о том или другом учении. Мы согласны лишь в принципах, провозглашенных Интернационалом". Но экономический принцип распределения собственности был сам-по-себе принципом основным, и разногласие по нему в то самое время, когда минута революции приближалась, и необходимость *действия* могла наступить каждый день, представлялось очень тревожным обстоятельством. Приговор был произнесен 7 июля: 6 человек были осуждены на год, 21—на 2 месяца заключения, 6 изгонялись за границу (между ними Варлен). Между тем, через несколько дней должна была начаться война, и в эти два месяца, когда рабочее социалистическое движение в Париже было лишено этих самых крупных деятелей, судьба империи должна была быть решена. Заботы войны и патриотическое волнение во время вторжения неприятеля во Францию и во время осады Парижа совсем отодвинули на задний план вопросы рабочего социализма.—Могу засвидетельствовать личным опытом, что в собраниях Интернационала и в народных кухнях (marmites), куда сходились завтракать и обедать рабочие Парижа, эти вопросы почти не поднимались в конце 1870 года.

3. Социалистическая литература.

Но если в среде французского рабочего класса социалистическое движение, вызванное основателями

Интернационала, было далеко от достаточной силы; если задавленные ежедневным трудом люди из рабочей среды не успели еще выработать ясной объединяющей социалистической програмы и организация их для действия была еще в зародыше в то самое время, когда удары, на них обрушившиеся, отняли у движения самых крупных деятелей,—то можно было надеяться что социалистическая пресса явится в этом случае энергическим пособником движения как в отношении теоретической разработки вопросов, так и указания практического плана действия. Действительно, были в парижской прессе органы и лица, у которых можно было искать по праву уяснения задач переворота, неизбежного при явно приближающемся падении империи. Это была, во-первых, група литераторов „Марсельезы“ (№ 1 появился 19 декабря 1869 года), сгрупировавшихся около Мильера, сына бочара, до 20 лет занимавшегося этим ремеслом, но теперь, в 1870 г., в 53 года, сделавшегося одним из самых сознательных и мыслящих литераторов-социалистов Франции. Мы видели, что главные деятели парижского Интернационала доверили именно ему социалистическое направление журнала, специально предназначенного для поддержки интересов пролетариата. Ряд статей Мильера, под названием „Социальный вопрос“, шел в „Марсельезе“ с самого начала журнала до 8 февраля 1870 г., когда большая часть редакторов „Марсельезы“ была арестована, а Ми-

льер посажен в Мазас, где и просидел до мая [1]. Рядом со случайными сотрудниками из рабочих групп Варленом, Малоном, Кассом, Дерэром, постоянным сотрудником „Марсельезы“ был будущий член Коммуны, 37-летний Артур Арну, впрочем посвящавший свои труды специально политической хронике.—От группы „Марсельезы“ отделился вместе с Флурансом другой будущий член Коммуны, Жюль Валлэс, друг и однолеток с Артюром Арну, возобновивший в марте 1870 г. прекратившуюся за три года перед тем „Улицу“ („La Rue“). Прежний сотрудник Валлэса в „La Rue“, прежний редактор журнала „La Rive gauche“ и будущий редактор официального журнала Коммуны, Шарль Лонгэ удалился в последние годы империи из воинствующей прессы.—Совсем иная группа стояла в „Reveil“ около Делеклюза, который еще в 1848—49 годах издавал журнал с громким названием „Révolution démocratique et sociale“, вернулся из своей ссылки в Кайенну таким же решительным противником империи, каким был ранее того, и теперь, 61-го года, при первой возможности поднял свое знамя; чуть не за каждый номер подвергаясь осуждению и тюрьме.—Отдельно от обоих групп стоял 60-летний Феликс Пиа, который прославился своими драмами из среды пролетариата („Les deux serru-

[1]) Один номер „Марсельезы“, именно № 79, был весь написан в разных тюрьмах Европы.

riers", „Le chiffonier de Paris"), еще до революции 1848 года и своим участием в самых крайних социалистических группах того времени, а теперь, в конце 1869 г., работал в органе Виктора Гюго „Rappel", скрывался в Париже в начале 1870 г. от преследования полиции и вскоре после того, как 21 января 1870 г. был прочтен его „тост пуле", приглашавший к убийству Наполеона III, должен был снова уехать в Англию. — Отдельно также стояли в „Revue des cours littéraires", ее основателем, [illegible], которому было тогда 31 год, и младший из всех, 29-летний Верморель, крайне раздражавший все партии своими книгами о людях 1848 и 1851 годов, писанными в тюрьме, обвиненный публично Рошфором в 1870 г. в содействии империи, и вскоре после того, в том же 1870 г., написавший — снова в тюрьме — свою характеристику социалистической партии (Le parti socialiste, 1870). — Посмотрим, насколько единства в теоретическом понимании и ясности, в определенном плане действия, мы найдем в этих представителях социалистической интеллигенции, которые все должны были играть видную роль в истории Коммуны.

Впрочем, эти личности, которые выступили все через несколько времени, как участники Коммуны или ее защитники, и которые все считали себя принадлежащими к социалистическому лагерю, могли в весьма различной степени претендовать на звание литературных представителей социализма: для

большинства их слово *социализм* имело весьма различное значение. Едва ли можно найти в работах этого времени у Пиа, у Валлэса или Лиссагарэ два—три отрывка, которые могли бы служить к уяснению теоретических или практических задач социализма этой эпохи. Если Валлэс в своей „Улице" („La Rue") 1867 г. хотел писать „историю страданий, но в то же время и историю труда", если в „Улице" 1870 г. он имел в виду излагать „день за день историю толпы", то анекдотическая и политическая стороны вопроса совершенно оттесняла в его изданиях экономическую сущность дела. Раздражая воображение читателя картинами бедствий рабочих разных специальностей, он никогда не указал ни на какой план выхода из этих бедствий. В первой, еженедельной, „Улице" 1867 г. он даже призывал к сотрудничеству, для верного изображения уличной жизни Парижа, людей всех партий, „легитимистов, филиппистов, империалистов, республиканцев". В книге Валлэса „Les Refractaires" (1869) нет также никаких принципиальных или практических указаний.—Пиа работал в журнале, который даже не считал возможным ставить социализму этой эпохи практическую задачу, и 11 января 1870 г. поместил за подписью постоянного сотрудника Барбьё (Barbieux) следующую фразу: „В настоящее время социализм есть не столько решение или совокупность решений, как обширное исследование". Сам Пиа принадлежал издавна к крайним группам; он говорил еще в 1841 г., в пре-

дисловии к драме „Два слесаря“, что он хотел написать „трагедию народа“, хотел несколько „реформировать общество“, так как он видел „несчастия народа и имел в виду показать ему, что он рано или поздно восторжествует, развиваясь в правде и в добре“. Но самые резкие места драмы Пиа (исключенные театральной цензурой) останавливались лишь на страданиях пролетариата в „мире, где бедные прокляты“, в мире, состоящем из двух классов: „пожирающих и пожираемых... воров и обворовываемых“, безо всякого намека на путь, которым пролетариат мог бы добыть себе лучшее положение. И в 1870 г. выражения Пиа оставались в этом отношении общими и туманными. Так он, при случае, писал: „Будущее, это—народ! это—рабочий и студент, т.-е. труд и учение; студент—молодежь буржуазии, рабочий—молодежь нации... Будущее, это—равенство бедного с богатым, раба с господином, рабочей платы с капиталом, человека с человеком. Это—конец каст и классов“. (Письмо к студенческой газете „L'Avenir“.—„Le Rappel“ 5 января 1870 г.). Но преследования, которым Пиа постоянно подвергался, были вызваны преимущественно его резкими политическими нападками на правительство. Принципиальные положения его были довольно смутны. Редакторам „Il Popolo“ он писал 2 января 1870 г. о „великой общей (для него и для них) родине—демократии, и едином для всех государе—народе“. Его ряд статей в „Rappel“ о „принципах 1789 г.“

не выходит ни на минуту из сферы политических или даже весьма частных задач, точно так же, как его „Досуги изгнанника“ (Les loisirs d'un exilé) 1851 г., не имели в себе следа социальных задач. В ответе Маццини (в „Rappel“ 6 января 1870 г.) он заявлял себя даже приверженцем неравенства племен, восхваляя исключительно латинское племя, как „представителя равенства и единства человеческого рода, расу католическую в истинном смысле этого слова, расу демократическую“.

Поэтому я ограничусь работами Делеклюза, Мильера и Верморея, хотя и за ними приходится признать весьма различное значение в вопросах, которые должна была поставить на очередь Коммуна. Для всех трех нельзя оспаривать значительного влияния традиций первой французской революции; кроме того, для двух последних не остались без сильного влияния идеи Прудона и Луи Блана. При помощи этих элементов им приходилось установлять задачи новой готовившейся революции, обособить программу социалистической партии и составить план ее действий ввиду приближающихся событий. Представители прессы, о которых мы говорили, в весьма различной степени оценили значение этих задач и весьма различно отнеслись к последним.

Все они признавали себя продолжателями дела первой революции; ее девиз: „свобода, равенство и братство“ ставили в основание декларации в 1848 г. люди, подписывавшие ее вместе с Де-

score

ле́клюзом (в числе их были Ламенпэ, Ледрю-Роллен, Пиа, Распайль, Гамбеп) в его журнале „La Révolution démocratique et sociale“, и в 1869 г. в „Réveil“ (№ 2) Делеклюз заключал всю политическую реформу в той же формуле. Тот же девиз служит точкою исхода и для Мильера в его статьях „Социальный вопрос“ в „Марсельезе“. Книга Верморея „Социалистическая партия“ представляет лишь комментарий на этот девиз, точно так же как „единственною причиною существования социалистической партии“ он считает решимость „довести до конца дело освобождения народов, начатое в 1789 г.“. Но у обоих последних писателей знаменитый девиз является уже освещенным социалистическими принципами. Для Делеклюза разница нового движения от старого весьма неопределенна. „Социализм — не что иное, как республика в действии“, — писал он в 1849 г. „Демократия и социальная реформа — одно и то же“, говорил он в „Réveil“ 1870 г. И в другом месте: „Слово *демократия* имеет и может иметь лишь одно значение: реформа социальная, т.-е. справедливость, вместе с реформою политическою и помощью ее“. Но все содержание „Réveil“ показывало, что главный центр тяжести реформ для Делеклюза и его приятелей заключался и теперь в вопросе политическом, как и в „Социально-демократической революции“ 1848 года, он признавал, что „связан с существующими социалистическими школами лишь симпатиями и надеждами“, прибавляя, что „роль людей откровения

прошла... Дело будущего принадлежит всем... Мы — люди политические и должны жить политическою жизнью". Для Мильера уже „социализм есть наука организации групп особей". Целью социалистического движения он ставит „господство (avènement) пролетариата". За республикой 1792 г. он признает значение борьбы, „великой битвы духа нового времени", цитирует пункт 35 ее заявления прав, признающий в известных случаях „восстание" как „самое священное право и самую необходимую обязанность для народа и для каждой части его", но отрицает, чтобы эта первая французская республика была когда-либо „правильным правительством". Теперь, говорит он, „недостаточно разрушать, надо еще построить вновь", и ставит „целью будущей революции—уничтожение злоупотребления капиталом и передачу его в распоряжение труда"; точно так же как „истинный прогресс" в борьбе принципов „индивидуализма и коммунизма" он видит во внесении в законодательство такого распространения на все области общественной жизни начал коммунизма, которое заставит исчезнуть все процессы антагонизма, вызванные царством индивидуализма. — Верморель особенно настаивал на необходимости „среди смешения идей и партий, доведенного до высшей степени последними событиями (в начале 1870 г.), выставить социалистическую программу" и обособлял эту программу, в противоположность программам прочих политических партий, тем, что для социалистов „свобода соста-

вляет не цель, но лишь средство: средство осуществить всеобщее благосостояние, устраняя из мира невежество и нищету и заменяя общественною гармониею антагонизм современного строя“. „Поэтому организация труда составляет самую основу общественной организации“ и в ней „следует прежде всего осуществить свободу и равенство“; „все социалистические системы имеют целью организацию труда“. „Политические реформы“, имеющие в виду „осуществление свободы“, не могут совершиться без реформ социальных (экономических), осуществляющих „равенство“. „Политика сказала свое последнее слово... провозгласив всеобщее право голосования“, но осталась „бессильною разрешить важные задачи, ею поднятые“; надо теперь ниспровергнуть деспотизм „в его истинных причинах“. Будущность политики Верморель представлял так: „Роль политики кончилась, и общество, возвратясь к своему истинному принципу, будет иметь целью лишь промышленные отношения. Правительство должно быть лишь администрациею, и последняя должна иметь в виду не политические интересы... но экономические и промышленные“. Относительно настоящего он говорит: „Мы не хотим отвращать умы от политических задач, их наполняющих; мы хотели лишь показать, каковы существенные условия свободы“. Резюмируя задачу нового общественного преобразования, Верморель признает „единственным законом для общества“ осуществление общего благополучия,—что он называет „земным

раем",—„путем труда и науки, развитием солидарности среди людей".

При этой постановке вопроса понятно, что экономические принципы получили преобладающее значение. Делеклюз, со своей точки зрения, не мог ставить их очень высоко и интересовался ими более платонически. Он в 1848 г. стремился прекратить борьбу интересов своей „социально-демократической революцией"; стремился осуществить общественный строй, „где все интересы будут одинаково представлены и который всем им будет одинаково благоприятствовать... где труд будет обязанностью для всех, преданность будет необходимостью, эгоизм—глупостью". В знаменитой декларации, о которой сказано выше, заявлялось, что „собственность в наших глазах столь же священна, как и труд, который она вызывает и вознаграждает". Ее право было признано „безусловным по сущности", но относительным и подлежащим положительному законодательству по ее распределению и гарантиям". При этом прибавлено: „Мы не только не хотим уничтожить собственность, но желаем ее расширить, обобщить, сделать доступною всем". „Право на труд" было признано одним из народных требований. Через 20 лет Делеклюз приветствовал Интернационал за то, что он ставил политические задачи рядом с материальными, но когда на Базельском конгрессе Интернационал более ясно выставил свою программу, оказалось, что будущий член Коммуны совсем иначе смотрит на „справедливость", кото-

рая, по его словам, составляет сущность социальных реформ. „Réveil“ поместил ряд статей Корона о конгрессе, где не придавалось никакого значения его экономическим прениям, так как эти прения не могут иметь в виду законодательных решений. Поднятие вопроса о собственности признано странным и высказана радость по поводу того обстоятельства (упомянутого выше), что большинство французских делегатов подало голоса против решений конгресса. Автор статей прямо высказывался и против равного распределения имущества, и против принципа: „земля—земледельцам, орудия труда—ремесленникам“. Впрочем, характер отношения „Réveil“ к социальным вопросам в 1869 г. достаточно виден из того, что теоретический разбор этих вопросов был поручен Робинэ, позитивисту религиозного толка.—Мильер видел во всей истории лишь борьбу начала индивидуализма с началом коммунизма, причем все добро происходит от коммунистических, все зло — от индивидуалистических стремлений. Господству индивидуализма в современном обществе он приписывал все явления антагонизма, в нем замечаемые, между прочим и борьбу капитала с трудом. При отсутствии равенства, свобода является „наибольшим бедствием для народа, торжеством индивидуализма, царством анархии“. Там же, где равенство будет осуществлено, „свобода не имеет пределов“. Всякая власть существует „лишь настолько, насколько она поручена согражданами“, и есть, по самой сущности, „власть

временная и сменяемая“. Формула равенства является, как „равенство обязанностей, которые пропорциональны способностям каждого“, и как „равенство прав, пропорциональных потребностям каждого“. При этом личность, в своей безусловной свободе, определяет сама долю прав и долю обязанностей, которые приходятся на нее.—Верморель тоже напирал на то обстоятельство, что в настоящем обществе равенство есть лишь „прекрасная, но бесплодная легальная фикция“, так как лишь правильная общественная организация, опирающаяся на организацию труда, может дать это равенство. „Прежде всего следует установить господство трех принципов, совершенно непризнанных современной общественной организацией: обязанность всеобщего труда; обеспечение работнику полного продукта его труда; равноценность общественных функций“. Последний принцип Верморель поясняет следующими словами: „Труд одного человека стоит труда другого: нет профессий служебных и профессий свободных; именно в труде люди должны быть равны“. Относительно собственности Верморель говорит, что ее „надо возвратить к началу, которое ей сообщает законность, именно, чтобы она составляла для каждого гражданина гарантию продукта его труда“, что социалисты „имеют основания требовать перестройки собственности на новых основаниях“, так как „в настоящем строе она почти никогда не имеет основанием труд тех, которые ею обладают“. В настоящее время „сбере-

жение составляет единственную гарантию обеспечения личности, а следовательно и ее свободы", но оно поддерживает начало: „всякий для себя" и противодействует солидарности. Для установления солидарности в обществе обеспечение личности и ее предусмотрительность должны быть направлены не на „сбережения", а на „взаимное страхование". „Страховая касса заменит кассу сберегательную, а в то же время и общественную благотворительность". В будущем обществе формы собственности или, вернее, формы владения, составят предмет общественного „федеративного договора". „Надо будет установить, что̀ должно принадлежать личности, и никаким образом не входить в состав договора; что̀ должно быть нераздельно и в отношении чего нужно определить права и участие каждого, и что̀, ввиду наибольшей общей выгоды, должно быть общим и эксплоатируемо сообща". Для устранения „эксплоатации производителей и потребителей посредниками" Верморель предлагает признать, что „обращение ценностей есть общественная функция", предлагает устройство общественных магазинов и учреждение „агентов общественного обмена"; предлагает, наконец, специализированный налог на основании принципа: „Надо, чтобы каждый гражданин содействовал отправлению общественной службы, соответственно своему благосостоянию и своему общественному положению, но чтобы степень его содействия каждому отдельному роду службы была установлена отдельно,

вместо оплаты податей огулом".—Из предыдущего видно, что экономические идеи Вермореля заключали в себе более элементов старой традиции, чем идеи Мильера, и что сложная система договоров, страхования, специализированных налогов уступала по ясности тому принципу равенства прав, пропорциональных потребностям, и равенства обязанностей, пропорциональных способностям,—принципу, который был выставлен Мильером.

В идеях политических мы видим, что все три рассматриваемые представителя прессы ставят на первое место „свободу личности" и стремятся придать ей столь безусловный характер, как только возможно, но совершенно неизбежно приходят к ее ограничению. Оставим в стороне Делеклюза, который в этом отношении стоял чисто на точке зрения „единой и нераздельной республики" конца XVIII века. Мы видели, что Мильер и Верморель напирали на условие равенства, как необходимое для того, чтобы свобода не сделалась общественным злом. Но свобода личности у Мильера имеет еще иные важные ограничения: „абсолютный принцип суверенности народа" и „диктатуру масс" в эпоху революции, так как „революция есть диктатура" и „должна быть организована". Отношение личной пропаганды к массовому движению в истории Мильер устанавливает так: „Новаторы должны формулировать доктрины; это—их миссия. Дело их учеников—пропагандировать и вульгаризировать эти доктрины, придать им форму, в которой обществен-

кое мнение способно принять их. Но лишь суверенный народ может прилагать эти учения... Народ должен быть сам орудием своего счастия и знать, как его учредить". Вермορель видел в прежних проявлениях свободы лишь „борьбу за власть" и противополагал прежним политическим программам программу действительного установления свободы путем серьезных гарантий и в связи с экономическим переворотом. Для него „первая обязанность правительств—содействовать ограничению и уменьшению собственной власти, употреблять все усилия к освобождению народов, им доверенных; правительства должны приготовлять свое собственное отречение". Довольно трудно объяснить, как Верморель мог представить себе существующие правительства реально исполняющими эту „обязанность", и легче понять другую фразу его, сюда относящуюся: „Мы не думаем, чтобы правительство могло дать свободу и справедливость; мы думаем, напротив, что свобода и справедливость будут иметь первым следствием устранение правительств, таких, по крайней мере, которые теперь организованы и действуют". Тем не менее, говоря о введении равенства в обществе и упоминая о тех, „кто живет не работая", а, следовательно, „живет неизбежно на счет других", Верморель выражается так: „Поэтому их надо принуждать работать, чтобы они вернулись к порядку и справедливости". И далее, отрицая „насильственные меры" для установления нового экономического порядка, он говорит, что

„свобода труда“ при существующих условиях, когда к ней придать еще „свободу капитала“, представляет лишь маску для „возмутительной эксплоатации работников“; свобода труда возможна лишь тогда, когда „экономическая революция уже совершилась“. „Но именно эту революцию следует совершить“.

Наконец, крайне интересно послушать накануне Коммуны мнения тех, которые должны были участвовать в этом движении, по вопросу о централизации и федерализме. Делеклюз, сторонник старой „единой и нераздельной республики“, хотя бы „социально-демократической“, конечно — противник всякого федерализма. По поводу Лозаннского „Конгресса мира и свободы“ мы находим в „Réveil“ (№ 118) статью, за его подписью, противу-федерального начала за централизацию. — Миллер признает два естественные элемента группировки личностей: коммуну и нацию. Он признает за коммунами право устраиваться самостоятельно. Нацию он считает группою, которую образует история на основании естественно-географических начал. Он находит, что нисколько не обязательно для отдельно существующей части целого присоединяться к этому целому, обусловливаемому естественно географическими границами, но когда раз соединение произошло, часть не имеет уже права отделяться от целого. — Верморель решительно поднимает знамя безусловного федерализма. „Новая формула возрожденного и преобразованного общества, — говорит

ой,—будет федерация, свободная группировка граждан, по их интересам и сходствам, законом для которой будет договор, свободно обсужденный и на который изъявили отдельно согласие все, к нему приступившие... Экономические интересы составляют главную задачу федеральных договоров“. Каждый договор, направленный к определенной, специализированной выгоде или цели, „не будет уже поглощать вполне человека“, в него вступающего. „Всякая личность будет иметь возможность принадлежать нескольким группам, и между этими различными группами могут, в свою очередь, установиться договоры“.

Мы видим, что сущность задач социализма и обособление его програмы, довольно смутные для Делеклюза и его приверженцев, уже в значительной степени уяснились для Вермореля и Мильера, причем одни вопросы были глубже и яснее поняты одним из них, другие—другим. Не сознавалась практическая програма действия личностей и групп в виду ясного разложения империи, которая в 1869 г. из авторитарной попыталась обратиться в парламентарную, но путем плебисцита в 1870 г. снова пришла к отрицанию парламентаризма и, следовательно, теряла все свои опоры. Для Делеклюза, конечно, програма действия была всегда готова, так как это была програма старых политических революций, которая, называясь теперь „социально-демократической“, нисколько в его глазах не изменила своего характера. Но и тут надо было сказать

хотя первые шаги к группировке, к организации единомышленников, чтобы события не застали демократию врасплох. Конечно, литература в этом могла оказать мало помощи, но следующие события показали, что кружок якобинцев, группировавшийся около Делеклюза, не сделал никаких и других серьезных приготовлений к очевидно близкому будущему.— Социалистам, как Верморелю или Мильеру, было настоятельно нужно составить план действия, так как они очень хорошо знали, что ожидаемая ими революция, революция пролетариата против экономического строя общества, не может и не должна быть похожа на „борьбу за власть", которая характеризовала все прежние битвы во имя „свободы, равенства и братства". Но у Вермореля, по крайней мере, которого приходится признать за одного из весьма заметных политических мыслителей крайней группы, нет следа какого-либо практического плана действия. В своем „Parti socialiste" он говорит о революции, как о каком-то отдаленном результате исторического прогресса. „Мы ожидаем всего лишь от соглашения в мысли, которое одно действительно для совершения настоящих реформ. Эти реформы, когда они созреют, совершатся путем наших взаимных усилий". Но что надо делать социалистам, как личностям и как группам, в случае падения империи, которое Верморель не предвидеть не мог? На это мы не находим у него ответа.—Один Мильер в №№ 23, 29 и 30 „Марсельезы" набросил план организации той „революционной диктатуры народа",

которая входила в его теоретическое построение. На случай успешного восстания в Париже (как в феврале 1848 г.) немедленно должно произойти народное собрание на площади пред ратушей. Оно учредит диктатуру в Париже по секциям и с центральной комиссией в ратуше, так как Париж в этом случае является „излиянием (émanation) населения всей Франции“. Эта диктатура продолжится до тех пор, пока таким же образом учредятся другие коммуны, а потом народ французский устраивается, как ему угодно. Но рядом с политическим переворотом должен совершиться экономический, однако так, чтобы не произошло остановки в общественных отправлениях. Все косвенные налоги отменяются. Все работы продолжаются теми же лицами, которые имели их в руках в минуту переворота. Если же руководители работ приостанавливают их, то производится экспроприация, и работы продолжаются самими рабочими, при них состоящими. Организуются склады фабрикуемых продуктов и безобидная продажа их потребителям.—Политическая агитация заняла в „Марсельезе“ в это время (январь 1870 г.) столь значительное место, что дальнейшее развитие этого плана Мильером стало невозможно, а происшедшее вслед за тем заключение его в Мазас прекратило временно его литературную деятельность. Особенного влияния эти статьи, повидимому, не произвели; нам не известно, чтобы группа социалистов, стоявших около „Марсельезы“, сделала какие-нибудь энергические усилия к организации

заранее сил, которые пришлось бы пустить в дело для осуществления Миллеровой диктатуры народа. О приложении на практике его революционного плана 18 марта не было и речи.

4. Сентябрьская республика.

Таким образом, рабочая партия была еще весьма недостаточно организована; начала Интернационала были еще весьма недостаточно усвоены большинством даже руководящих личностей, приставших к нему во Франции; самые убежденные социалисты Интернационала были в тюрьме или вне Франции; да они и рассчитывали лишь на движение гораздо позднейшее, на то, что революция „может выбрать свой час". Теоретики социализма были разрознены: идолопоклонство пред первой великой революцией было общим всем им; все исходили из формул конца XVIII века; большинство думало продолжать дело Конвента; иные не отличали даже новых задач от задач эпохи эмансипации буржуазии и относились враждебно к экономическим требованиям Интернационала; другие более ясно понимали эти задачи, но не делали ни шага к выработке плана для революции, которая имела и должна была иметь место совершенно независимо от всех программ и желаний, вследствие самостоятельно-прогрессировавшего разложения империи; весьма немногие составляли подобные планы, но не делали еще и шагу к их осу-

щественно. И все эти люди, столь разнообразного развития и направления, столь различной подготовки, должны были быть вынесены волною событий во главу движения и поставлены *вместе* пред грозною задачею построить коммуну самостоятельного пролетариата, в городе двухмиллионного населения, с блестящими буржуазными преданиями, с блестящим развитием разнородной буржуазной индустрии; и все это—при самых неблагоприятных внешних условиях.

Война стала неминуема. Рабочие Парижа писали рабочим Берлина: „Братья, мы протестуем против войны, мы, которые хотим мира, труда и свободы“. Рабочие Берлина отвечали: „Мы также хотим мира, труда и свободы. Мы знаем, что по обеим сторонам Рейна живут братья, с которыми мы готовы умереть за всемирную республику“ (Liss. 16 Mai. 36 и след.). Но слова были немощны, а рабочие составляли неорганизованную силу и там и тут. Война вспыхнула, армии столкнулись, и ряд военных неудач, обнаруживших полную неспособность и неподготовленность французского правительства, окончился неслыханною катастрофою. Патриотическое возбуждение соединилось с негодованием против бессильного цезаризма, развратившего нацию и растратившего ее силы. Когда известие о Седане дошло в Париж, империя не имела ни одного защитника. Провозглашение республики произошло так спокойно и ординарно, как будто дело шло о самом обыкновенном происшествии. Спокойно обламывали

батальоны национальной гвардии орлов империи со своих знамен; спокойно отколачивали лавочники тех же орлов с вывесок. Полиция спряталась. Правительство исчезло. По выражению циркуляра Генерального Совета Интернационала от 9 сентября (On the War, 7), „республика не низвергла трона, но заняла место, оставленное им пустым. Она была провозглашена не как социальное завоевание, но как мера для национальной борьбы“. Империя рассыпалась сама собою. Вопрос поставлен был так: Кто заменит ее? Кто *готов для дела?*

Социалисты *не были готовы.* Рабочая организация не существовала, как организация боевая. Член редакции самой крайней газеты, Артур Арну, говорил о 4 сентября (I, 26): „Я еще раз почувствовал, как опасно для партии не иметь организации.—Со времени переворота демократическая партия была совершенно дезорганизована. Ничто не связывало отдельные куски.—Существовали деятельные центры, энергические личности; но не существовало общего лозунга“. Один из самых энергических демократов, Делеклюз, мог только воскликнуть „с отчаянием“, узнав о провозглашении нового правительства: „Мы пропали“ (Arn. I, 26).

Но либералы *были готовы.* У них была их рутинная программа. У них были люди, имена которых были известны, как имена деятелей оппозиции против империи. У них были готовые приемы. Они первые уселись в ратуше, в полицейской префектуре. Эмануэль Араго назначил брата мэром Парижа,

бросив ему красный шарф: „На, тебе, Этьен! ты — мэр Парижа!“ (Lefr. 60). В правлении оказались: Жюль Фавр, который в 1848 г. внес в закон о прессе меры, запрещающие нападки на начало собственности; Жюль Симон, который в книге о „Свободе“, утверждал, что „нищета всегда будет существовать“, и восставал против тех, кто рассказывал беднякам о их нищете; одним из крайних был Гамбетта, который еще 17 августа требовал в законодательном собрании быстрого наказания участникам небольшого народного движения против правительства, имевшего место в La Villette 14 августа (Lefr. 55). Действительно, сторонники народа, демократы всех оттенков и групп, должны были признать, что власть принадлежит их злейшим врагам. Циркуляр Генерального Совета Интернационала, упомянутый уже выше, замечал (8), что „первые действия“ правительства обороны „указывают, что оно унаследовало от империи не только развалины, но и ее болзнь рабочего сословия“.

К тому же вопрос патриотизма, борьбы противу Пруссии, господствовал над всем. Новые журналы, созданные представителями крайних мнений (Пиа стал издавать „Le Combat“; „Бланки—„La Patrie en danger“; Делеклюз возобновил „Réveil“, Верморель—„Courrier Français“), были поглощены вопросами войны или политической критикой действий правительства. Освобожденные или возвратившиеся деятели рабочего движения придали энергическое развитие секциям Интернационала в Париже,

которым пособием и постоянным центром служили еще народные кухни (marmites), размножившиеся в Париже. Но и в секциях и в народных кухнях на первом месте стояли вопросы войны и „сопротивления до последних сил“ (guerre à outrance) в оппозицию буржуазии, готовой к примирению. Затем все ярче выступало неудовольствие против Трошю и правительства все-таки на почве чисто политической. Росла партия недовольного пролетариата, но в ней группировались самые разнообразные элементы: рядом с социалистами Интернационала, там были горячие патриоты, ненавистники правительства и всех francs fileurs; рядом с политическими радикалами демократии, идолопоклонниками 1793 года, там были просто раздраженные голодом бедняки национальной гвардии, существовавшие на поденную плату 1 ф. 50 с., выдаваемую им правительством, и оскорбленные состоятельными товарищами, которые называли их презрительно „Les 30 sous“. Принципиальные вопросы экономической борьбы не поднимались вовсе или составляли столь неважный элемент прений, что на собрания секции Интернационала шли безразлично все недовольные, даже совершенно чуждые социальной борьбе. Вследствие того, что зала заседаний Федерального совета парижского Интернационала была в то же время залою заседаний Центрального республиканского комитета 20-ти округов Парижа, и многие лица были членами того и другого собрания, в общественном мнении (а часто и в мнении участников) произошло

смешение между целями и деятельностью этих двух различных элементов, и патриотический, политический элемент последнего, вследствие условий среды, господствовал. Во имя патриотических мотивов росла в „Réveil“, в „Patrie en danger“, в „Combat“ резкая оппозиция против правительства, которое готовы были прежде поддерживать эти журналы вслед за провозглашением республики. Во имя патриотических мотивов росло неудовольствие против этого правительства в Париже; но этот самый мотив давал и „правительству обороны“ не раз оружие против оппозиции; например, тогда, когда была разорвана во многих местах Парижа красная афиша „Предложения Правительству“, требовавшая энергичных мер защиты и подписанная многими членами Интернационала и будущими членами Коммуны (Mal. 41); когда не удалась первая попытка Флуранса поднять народ 8 октября во имя „войны до последних сил“ и коммунального устройства Парижа; когда, наконец, контора журнала „Combat“ была разорена толпою, после того как Пиа 27 октября объявил о сдаче Меца Базеном, а правительство официально опровергло „изменника“ и предало его „общественному негодованию“, между тем как оно отлично знало, что известие верно и через 2 дня должно было само обнародовать его. Патриотическое негодование было мотивом и самого крупного движения этого периода, именно движения 31 октября, когда известия о сдаче Меца, о потере Буржэ и о том, что Тьер ведет переговоры о перемирии, одновременно подорвали

всякое доверие к правительству. „Население Парижа,—признавался впоследствии Жюль Ферри (Enq. 4 Sept., I, 395),—было нам вполне враждебно сверху до низу, и все находили, что мы стоили, чтобы нас низвергли. Действительно, взрыв удался и, при равнодушии большинства национальной гвардии, в ратуше совершился на несколько часов переворот. Но опять-таки эта самая минута победы должна была служить доказательством, как беспомощна самая энергическая и искренняя оппозиция, когда она представляет коалицию разнообразных направлений, а не одно целое, соединенное общими принципами.

Знаменательный факт этого внутреннего разлада проявился уже несколько ранее, вслед за неудачею 8-го октября. Интернационал и рабочая федерация, как было сказано, отдали залу своих заседаний (в La Corderie) Центральному комитету 20-ти округов, но оставались вне всякой деятельности этого комитета. Лефрансэ внес предложение, чтобы комиссия Интернационала и рабочей федерации „взяла на себя руководство политическим движением, исход которого можно было уже предвидеть“. Он находил необходимым, чтобы „общество, программа которого была известна и республиканские принципы которого не подлежали сомнению ни для кого, стало руководителем движения, чтобы заменить инициативою коллективностей и идей инициативу личностей, жаждущих власти, но вообще лишенных всякого нового политического и экономического понимания“. Пора,—

говорил он,—чтобы „революция совершилась от народа и анонимно, чтобы подавить личные и болезненные честолюбия. Лишь Интернационал и рабочая федерация способны осуществить социальную революцию, которую обозначит провозглашение Коммуны, делающееся все более вероятным“.—Но комиссия слишком хорошо помнила, может быть, что упомянутый выше циркуляр Генерального Совета от 9 сентября, обращаясь к французским рабочим, говорил („On the War“, 8): „Была бы отчаянным безумием всякая попытка ниэвергнуть новое правительство во время настоящего кризиса... Французские рабочие должны исполнить свою обязанность, как граждане, но в то же время они не должны позволить увлечь себя национальным воспоминаниям 1792 г... Им должно не припоминать прошедшее, но строить будущее. Они должны спокойно и решительно воспользоваться выгодами республиканской свободы для своей собственной организации. Она даст им геркулесовскую силу для возрождения Франции и для нашего общего дела, для эмансипации труда“. На предложение Лефрансэ комиссия „почти единогласно объявила, что Интернационалу и рабочим синдикальным камерам не следует прямо вмешиваться в события, еще слишком неверные, и в которых эти общества рискуют компрометировать свое существование; что они имеют в виду заниматься исключительно социально-экономическими реформами и, как группы, Интернационал и федерация должны тщательно воздерживаться от чисто-поли-

тической деятельности. Каждый член сохраняет право участвовать индивидуально в этой деятельности в той мере, как найдет нужным". Напрасно Лефрансе и его единомышленники возражали, что нельзя „разрезать общественную жизнь" и освобождать рабочих независимо от политических форм; что „социализм должен быть политикою, опирающеюся в своей сущности на отрицание монархической идеи"; решение было принято, и все влиятельные члены Интернационала поддержали его (Lefr. 20—21). Французский Интернационал, который, как мы видели, давно уже скользил неизбежно по направлению к политической агитации, тем не менее не решался выработать самостоятельную политическую програму на основании своих экономических положений, и так группа, признавал себя несостоятельною перед наличными задачами, так как они не имелись в виду при его основании. Само собою разумеется, что этот недостаток новой програмы давал полную свободу заявлению старых рутинных програм, а также проявлению тех „личных и болезненных честолюбий", о которых говорил Лефрансэ.

Когда, 31 октября, правительство было ниспровергнуто, не было опять-таки готовой организованной силы в радикальной демократии, а тем менее в среде социалистических груп,—чтобы немедленно овладеть колеблющеюся массою. Провозглашена была Коммуна. Провозглашена была комиссия для производства немедленных выборов в Коммуну. Эти выборы должны были совершиться в 48 часов, но в

продолжение этих 48 часов надо было жить и действовать, а неорганизованное и вызванное случайностью движение не могло не дать печальных результатов. „За недостатком предварительного соглашения,—пишет Лефрансэ (96),—многие списки (провозглашаемой комиссии), прочитанные в разных местах ратуши, были распространены в городе, и это начало в самом деле смущать умы, привыкшие в подобных случаях к большему единству. К довершению расстройства, одна группа, допуская Парижскую Коммуну, понимала дело так, что личности, которым поручено было организовать ее избрание, сохранили бы политическую власть вместо тех, которых только что низвергли“. „Если бы эта комиссия,—пишет Лиссагарэ (31),—немедленно захватила власть, очистила и охранила ратушу, издала бы прокламацию, этот день был бы решителен и благотворен“. „Добрые граждане,—восклицает Арну (I, 54),—которые сделали попытку этого движения, имели на своей стороне право и истину; если бы движение удалось, республика и Франция были бы, вероятно, спасены. Вследствие отсутствия плана и предварительного соглашения... движение не удалось“. Ему довольно трудно было удаться при подобных условиях, когда не было соглашения ни в том, кого избрать на место сверженного правительства, ни в том, какой смысл будет иметь избранная комиссия, ни даже в том, захотят ли личности, вынесенные случайным голосованием на такое неопределенное и трудное положение, взять на себя ответственность

за него. Списки этой комиссии у Лефрансэ (26) и Лиссагарэ (31) различны, но остается фактом, что многие из избранных отказались занять это положение. Тогда явился Флуранс —„человек, преданный своим убеждениям до готовности умереть за них, но способный довести людей до отчаянья наклонностью ставить свою личность выше всего“ (D'une désespérante personnalité; Lefr. 27). „Комитет общественного спасения“, созданный под его влиянием, весьма легко заменил неосуществившуюся комиссию; но, после этого, отсутствие самых элементарных мер охранения нового порядка и внутренний раздор между приверженцами комитета и теми, которые видели в нем лишь „замену одной диктатуры другою“ (Lefr. 27; Liss. 31), повели к столь же легкому торжеству только что низверженного правительства; его „патриотически“ поддержали некоторые батальоны национальной гвардии ввиду национального врага, тогда как тот же мотив „патриотизма“ только что побудил другие батальоны его низвергнуть. Были и такие войска (как бывшие под начальством прудониста Лангаля), которые пришли утром к ратуше на помощь восстанию, а вечером уже были против него, испугавшись имени Бланки в Комитете общественного спасения (Lefr. 100). „Отсутствие всякого руководства со стороны Интернационала, а также нелепое или расчетливое отвращение, внушаемое именем Бланки, — пишет Лефрансэ, — были главными причинами неудачи 31 октября“. „Беспорядочность, отсутствие дисциплины патриотов, — гово-

рит Лиссагарэ (34)—возвратили правительству его сентябрьскую девственность". Оно, конечно, нарушило все обещания, сделанные в трудную минуту, произвело аресты и назначило суд над инсургентами, затем обратилось к бонапартистскому приему, к плебисциту, чтобы оградить себя именем народа. 300.000 избирателей воздержались от голосования (Lefr. 103). В числе 320.000 голосов, поданных за правительство, было более 200.000 человек армии, моряков и мобилей. Более 60.000 голосов (из них 2.000 войсковых) подано было против правительства [1]).—„Каким образом—пишет Лиссагарэ (34)—эти 60.000 человек, ясно видевших положение, быстрых и энергических, не могли управлять общественным мнением? Потому, что у них не было кадров, последовательности, организаторов. Горячка осады не внесла дисциплины в революционную партию, столь спутанную за несколько недель перед тем, а патриархи 1848 года не годны были для этого. Якобинцы, как Делеклюз и Бланки, вместо того, чтобы волновать народную среду, жили в исключительном кружке друзей. Феликс Пиа, шатаясь между верной идеей и своей литературной эпилепсией, становился практичным [2]) лишь тогда,

---

[1]) Числа Лефрансе (103) и Лиссагарэ (34) не совпадают. Я следую Лиссагарэ, как располагавшему более обширным материалом.

[2]) „Он предлагал почетное ружье тому, кто убьет короля прусского, и поддерживал изобретение греческого огня, который должен был сжарить немецкую армию".

(Прим. Лиссагарэ.)

когда дело шло о собственной безопасности. Другие: Ледрю Роллен, Луи-Блан, Шельшер и т. д. надежды республиканцев во время империи,—возвратились из изгнания пустоголовыми, разбитыми на ноги, разъеденными тщеславием и эгоизмом: у них не было ни мужества, ни патриотизма; они презирали социалистов. Фаты якобинизма, называющие себя радикалами—Флоке, Клемансо, Бриссон и другие демократические интриганы—тщательно держали рабочих на приличном расстоянии. Даже монтаньары держались особняком, не ходили в Центральный комитет 20 округов, комитет, которому недоставало, чтобы сделаться силою, и методической деятельности, и политической опытности. „Он всегда был лишь центром впечатлений, но не руководящим центром". Может быть, этот отзыв слишком резок в частностях, но он характеризует, как некоторые энергичные и преданные люди партии оценивали тогда и оценивают теперь положение дел и значение личностей.

Между тем, недостаток припасов делал свое дело, и в то время, как Ренаны, Теофилы Готье, Гонкуры и подобные им господа, обедая у Бребана, „не замечали, что они обедают в осажденном городе, имеющем два миллиона жителей" (они впоследствии поднесли по этому поводу Бребану золотую медаль с приличною надписью. Radical, 21 Mars 1872),—3/4 населения Парижа существовало лишь помощью общественной или частной благотворительности (Arn. I, 52). Между тем, правительство, при-

нужденное восстанием прекратить переговоры о перемирии, сеяло раздор между регулярною армиею и национальною гвардиею—les 30 sous! les guerres à outrance!—Оно приготовляло себе пособников для будущего столкновения.

Что касается до развития социально-революционной партии, неудача 31 октября ничего не изменила. При насущных заботах осадного положения самое существенное дело для социалистов,—организация партии и выработка практической программы действия,—не подвигалось вперед ни на шаг. Все попытки в этом отношении были неудачны. В январе 1871 г. Франкель говорил в заседании Интернационала: „Нам нужен орган, который излагал бы ясно наши идеи! Как вы хотите, чтобы научался рабочий, который ничего не знает? Ему говорят теперь о коммуне: это слово пугает его, он не знает, что это такое. Со времени республики, мы ничего не сделали!“ (Enq. 18 Mars, III, 215). Вопрос о журнале сеял раздоры в Интернационале именно потому, что теперь Федеральный Совет заключал в себе самые энергические и деятельные элементы борьбы, а уже не наилучше выработанных социалистов. Весьма многие желали, чтобы Федеральный Совет взял органом уже готовый журнал (Lutte à outrance), который защищал бы интересы пролетариата и вел бы полемику с противниками. Варлен доказывал, что „это—журнал, специально имеющий в виду борьбу и политику. Федеральный Совет хочет иметь вполне *свой* журнал, который принад-

жал бы исключительно ему, распространял бы идеи ассоциации и редакция которого была бы в руках Федерального Совета" (там же, 212). По основанию подобного журнала представлялись материальные затруднения. Малон стал издавать в Батиньоле „La République des Travailleurs", при содействии Андрэ Лео, но Интернационал должен был признать, что этот журнал „сбился с пути" (там же, 216), и высказать ему порицание (217), так как это был журнал не для рабочих. В заседаниях предлагались частные меры, которые не могли иметь существенного значения и на предложение которых Варлен отвечал: „Единственное лекарство было бы сделаться могучим политическим организмом и действовать самим". Требовали манифеста, который „ясно поддерживал бы вопрос об общественной ликвидации". Требовали, чтобы „Интернационал завоевал себе почву путем политики". Обвиняли его в бездействии: „Интернационал дурно понял свою роль; рабочие должны были захватить власть 4 сентября: надо это сделать теперь. Если бы с первого дня Интернационал шел прямо своим путем, все вышло бы иначе, особенно 31 октября. Теперь все дезорганизовано, и между тем Интернационал должен понять, что в настоящую минуту самое существование его поставлено на карту. Он убил бы правительство, если бы его орган указывал публике ошибки правительства по мере того, как они делались; его журнал был бы исключительно в руках нашего класса". Франкель предложил мани

фест, но это была, по словам Варлена, „статья, а не манифест“; другие нашли, что он не соответствовал требованию минуты“ (там же, 217—219). Не было средств; не было сил; не было единства.

Между тем, раздражение против правительства росло и достигло высшей степени после бойни национальной гвардии при Бюзенвале 19 января 1871 г. Решились на новую попытку восстания. „Alliance républicaine“ [1] — общество, соединившее столь разнообразные элементы, как Ледрю Роллен, Делеклюз и Артюр Арну из „Марсельезы“ — выпустило прокламацию, где требовало перемены правительства и выбора Парижем верховного собрания из 200 человек (Arn. I, 70). Вечером 21-го января в секциях Интернационала раздался призыв к оружию на другой день, утром. Но 22 января, утром, распространилось известие об отречении Трошю и о том, что Флуранс освобожден инсургентами из Мазаса (куда он был посажен за дело 31 октября). Первое известие успокоило раздраженных патриотов, второе испугало буржуа, которые сначала готовы были идти на зов „патриархов 1848 года“. Не особенно хорошо организованное движение 22 января этим еще более лишилось цельности и потеряло в размерах. Немногие отряды национальной гвардии, явившиеся на площадь Ратуши, были встречены, *без предупре-*

---

[1] Лефрансэ (112) приписывает одинаковую деятельность нескольким обществам, тогда существовавшим, но я придерживаюсь рассказа Арну, который, как непосредственный участник, имеет пред собою свидетельства других.

женщин [1]), выстрелами заранее собранных мобилей. Неудача была полная. Делеклюз, наблюдавший за движением из соседнего дома в улице Риволи, мог только „бледный, дрожащий, без сил и без голоса, закрыть лицо руками“ (Arn. 1, 70). Для него это было неожиданно. Инсургенты опять *не были готовы*.

Делеклюз был арестован, „Le Combat“ и le „Réveil“ были запрещены. Журналы, на которые рассчитывал Интернационал, должны были прекратиться по недостатку денег. Капитуляция Парижа вызвала всеобщий упадок духа. Не было средств даже издать брошюру о 22 января. „Народ не поддержит нас“,—говорили 26 января в заседании Федерального Совета. „Слова делегатов,—возражал Франкель,—высказывают безнадежность. Положение так серьезно, что оно смутило бы всякого: делая пропаганду, мы снова привлечем к себе народ“. В то время, как Варлен указывал на необходимость реорганизовать парижский Интернационал, как на единственное средство усилиться, другие же говорили о том, что надо готовиться к событиям, которые могут сделаться благоприятными, раздавались в Федеральном совете и такие голоса: „Республика в опасности; мы должны соединиться с республиканцами для ее защиты“.

Через два дня, 28 января, капитуляция Парижа

---

[1]) Свидетельство Арну, относящееся к этому факту, я могу подтвердить личным свидетельством.

была подписана, и 8 февраля Париж приступил к выборам в фатальное Бордоское собрание. Несмотря на прежнее сдержанное отношение к политике, парижский Интернационал решился этот раз участвовать в выборах, как целое. Между „слишком многочисленными списками“ (Lefr. 119) кандидатов, выставленными республиканской партией — многочисленность этих списков „объясняла бессилие этой партии во время осады“ (Liss. 52) — появился список, представлявший собою кандидатов Интернационала, Федеральной камеры рабочих обществ и Комитета 20 округов. В программе, сопровождавшей список, было сказано: „Надо, чтобы рабочие были между людьми власти... Это — список кандидатов, представленных во имя нового мира, партиею обездоленных... Франция устраивается заново; рабочие имеют право искать и занять свое место в готовящемся строе. Социально-революционные кандидатуры означают: отрицание чьего бы то не было права считать республику спорным вопросом; утверждение необходимости политического господства для рабочих; падение правительственной олигархии и промышленного феодализма“ (Liss. 53). „Вне нескольких имен знакомых обществу, — пишет Лиссагарэ... — эти социалистические кандидаты были известны лишь в народе: механики, сапожники, работники по железу, портные, столяры, повара, чернодеревцы, резчики“. Из этого списка прошло только 5: 2 рабочих — Толэн и Малон, а затем Гарибальди, Пиа, Гамбон. „Люди 48-го года, — пи-

шет Лиссагарэ,— отвергли Бланки, но внесли в свой список несколько членов Интернационала, чтобы воспользоваться его именем". Один список заключал имя Либкнехта. Во главе парижских кандидатов прошел с огромным большинством Луи-Блан, „бывший бабой во время осады",—пишет резко Лиссагарэ. „Буржуазия, вотировавшая в пользу его,—говорит Арну (I, 84),—выказала этот раз некоторый политический смысл и доказала, что верно оценивала характер—Луи Блан должен был оправдать ее доверие". Насколько слабо было влияние радикалов, видно из того, что в Париже прошел и Жюль-Фавр, против которого в самый день выборов Миллер обнародовал страшное обличение его прошлого.

Теперь, когда военные заботы кончились, ослабевшая и расстроенная партия социалистов могла заняться своим устройством. На заседании 15 февраля в Федеральном Совете Интернационала поставлен был на очередь вопрос о его реорганизации. „У нас есть сила нравственная, если не во Франции, то в Париже: нам недостает силы материальной вследствие недостатка организации. Многие члены не понимают цели ассоциации... Нам нужно мужественную организацию, дисциплинированные секции... преданные идее Интернационала, полные жизни, чуждые утомления и уклончивости. При этих условиях Интернационал будет готов и крепок в день действия, как бы неожиданно ни настал этот день" „Интернационал,— говорил Тэйс,—должен сделаться

самим общественным правительством будущего. Теперь трудно составляются рабочие общества; рабочие секции фатально поглощены ежедневной борьбой за заработную плату". Он предложил совету составить комиссию, которая бы произвела исследование в каждой секции Интернационала, дала бы отчет Совету, „внушила бы секциям мысль Федерального Совета", чтобы через секции Совет влиял на общественное мнение и „смело шел к будущему". Предложение было принято единогласно. В том же заседании Серайе обвинял не секции, а Парижский Федеральный Совет. „В Лондоне, — говорил он, Интернационал есть политическая сила первого разряда. Пусть вспыхнет социалистическое движение: Интернационал готов в Англии. Но так ли оно во Франции?" Очень скоро обстоятельства показали, что и в Англии оно было совсем *не так*. — Новая организация шла не довольно скоро. На это особенно напирал Франкель, требуя настоятельно учреждения органа Интернационала в прессе и обсуждение новых статутов. Но рядом с этим чуждые элементы, вкравшиеся в Интернационал в смутное время осады, заявляли свое существование. Одни требовали, чтобы члены Интернационала непременно принадлежали к обществам сопротивления своего ремесла, хотя бы дух этих обществ „в политическом и социальном отношении" не соответствовал принципам Ассоциации. Другие настаивали на политических демонстрациях в пользу республики. Франкель возражал 22 февраля: „Хотя я лично

очень симпатичную манифестацию, тем не менее отвергаю ее важность при современных обстоятельствах. Нам необходимо заниматься изучением вопросов и организацией. Мы должны углубиться в специальные вопросы найма квартир и всеобщей безработицы. Секции должны участвовать в этой работе у себя и совершить ее быстро. Необходимо согласить все наши мысли, все наши оценки и их резюмировать в заявлении, порученном Малону и Толену, которые заседают в Собрании, и должны дать услышать там волю работников. Я предлагаю, чтобы отвергли всякое обсуждение и манифестации переходом к очередному порядку". Его предложение было принято. В данном случае он был, вероятно, прав, но ход этих прений выказал снова существенный недостаток Интернационала в 1871 г., недостаток, за который так дорого пришлось поплатиться его сторонникам во время Коммуны. Интернационалу представляли дилемму: или участвовать в политических явлениях, как их вырабатывали существующие политические партии, *ему чуждые*, или совсем воздерживаться от участия в политических событиях, которые тем не менее шли своим чередом и влияли на него, на рабочее движение и на положение социалистов вообще. Но был третий путь: выработать политический план действия на основании принципов рабочего социализма, привлечь к своей программе действия рабочие массы, еще не проникнутые принципами Интернационала, и готовиться всеми силами при удобных обстоятель-

ствах осуществить этот план. Этого пути, повидимому, не имели в виду, так как Интернационал до тех пор, как коллективное целое, был связан лишь экономическими задачами. Примыкать к чужим политическим програмам было, действительно, вредно для социалистов, и потому они, как целое, сами отказывались от существования в форме политической силы, а, как единицы, участвовали в попытках осуществить *чужие* програмы.

5. Канун взрыва.

Между тем, обстоятельства усложнялись и выработали новую силу, которая еще не принадлежала ни одной из существующих политических партий.

Обстоятельства усложнялись, потому что Бордоское собрание,—„в котором,—по словам Арт. Арну (I, 86),—низость и неспособность входили в дозах столь значительных, что было бы оскорблением для гнилого сената при Тиберие и для парламента „охвостая“ Англии, если бы их сравнили с этим собранием“,—как будто нарочно употребляло все усилия, чтобы раздражать почти все классы населения Парижа, а в то же время присутствие большей части официальных и влиятельных личностей в Бордо оставило Париж почти совсем вне официального влияния. „Париж не имел более правительства, — говорит Арт. Арну (I, 91 и след.)— Люди ратуши уехали в Бордо; войско внушало мало

уважения и было обезоружено (вследствие капитуляции); генералы были вообще презираемы. На улицах не было полиции. Никто не был настолько популярен, чтобы его слушали. — Мы имели лишь анонимное правительство, представителем которого был M. Tout-le-Monde... Был, правда, где-то генерал-декабрист, которого звали Винуа, но у него не было ни нравственного, ни материального влияния, и никто им не занимался... На улицах выкрикивали журналы и брошюры; на всех стенах наклеивали сенсационные статьи, ежедневные карикатуры... В продолжение нескольких недель Париж пользовался полною, безусловною независимостью, которой он никогда не знал". В этом Париже, только что пережившем горячку осады, лишенном еще правильных сношений с внешним миром [1]), ожидавшем каждую минуту вступления врагов и в то же время оставленном внезапно на произвол случайных увлечений и влияний, получались из Бордо известия, самые оскорбительные или враждебные интересам большинства. Патриоты были возмущены позорными условиями мира и капитуляции, оскорблением Гарибальди, отсутствием всякого патриотизма в „Assemblée des ruraux". Тщеславие парижан было оскорблено перенесением местопребывания правительства в Версаль, рядом враждебных Парижу статей в правительственных журналах, не исключая

[1]) Контора Ротшильда отказывалась получать по телеграфу деньги из остальной Европы.

„Pottier". Вся мелкая буржуазия Парижа была затронута в самых насущных интересах распоряжением 11 марта, что все векселя, срок которых истекал 13 ноября 1870 года, должны быть уплачены 13 марта 1871 г. (т. е. через два дня после распоряжения, и это в городе, где дела едва возобновились). В то же время собрание отказывалось придти на помощь квартирным жильцам (от 200 до 300.000 человек, по Liss., 83), которые не уплатили, да и не могли еще уплатить домохозяевам за последние месяцы. Национальная гвардия тоже была предметом разных „мер". Выдачу 1 фр. 50 с. решено продолжать лишь тем, кто об этом будет просить. В то же самое время, вместо Клемана Тома,— слишком известного и ненавистного рабочим Парижа еще с 1848 г., теперь подавшего в отставку,— начальником национальной гвардии назначен был бонапартист, генерал Орель де-Паладин, игравший весьма незавидную роль во время защиты республиканской Франции от пруссаков. Это было оскорбление, нанесенное национальной гвардии Парижа в то самое время, когда, по словам Арт. Арну (I, 21), „Париж со времени капитуляции принадлежал в действительности национальной гвардии, которая сделалась единственным господином положения". Но мало того, что самое положение национальной гвардии ставило ее в эту минуту распорядительницею судеб Парижа. Она еще выработала в своей среде в это самое время организацию, которая создавала из нее весьма крупную силу.

Мысль федерации батальонов национальной гвардии вышла из консервативного лагеря. По поводу мелкого вопроса об уплате доли жалованья произошло в ноябре 1870 г. в Палэ-Рояле собрание знаменщиков разных батальонов, в котором председателем и главными ораторами были самые консервативные личности. Дело не имело ни значения, ни успеха, но некто Враньо выработал по этому поводу проект федеративной организации национальной гвардии. В эпоху февральских выборов он был редактором консервативной газеты „Le Bien Public“, вздумал употребить эту организацию в видах выборной агитации и стал проповедовать ее в своей газете. Произошли собрания. Но демократический элемент тоже воспользовался этой идеей и создал прямо оппозиционную правительству федерацию с *Центральным Комитетом*, который должен был играть столь видную роль в истории этой эпохи (Homm. et Ch. d. l. Comm. 5—7). Под влиянием минуты консервативная федерация была поглощена демократической организацией, и первым проявлением существования организации была громадная демонстрация в пользу республики на площади Бастилии. В следующие дни эта демонстрация повторялась все усиливаясь. Батальоны шли с музыкой и со знаменами мимо колонны, бросая венки иммортелей на решетку и на пьедестал. Жгучие речи произносились с бронзовых ступеней, и на них отвечали крики: „Да здравствует республика!“ В руках гения на верху колонны развева-

лось впервые после 1848 года красное знамя. Несколько ниже висела доска, на которой было написано громадными буквами: „Да здравствует всемирная республика“ (Liss. 72; Arn. I, 94). Между тем комиссия национальной гвардии выработала устав Центрального Комитета. Она была вне всех партий. „Ни одного известного имени, - пишет Лиссагарэ (70). — Это — мелкие буржуа, лавочники, чуждые замкнутым кружкам, большею частью до тех пор чуждые и политике“. С самого начала федерация решилась протестовать против мысли о разоружении национальной гвардии. На другой день после учреждения федерации Клеман Тома подал в отставку. В следующих собраниях мы видим уже присутствие Варлена. По его предложению, в самую годовщину Февральской республики, в день начала демонстраций на площади Бастилии, собрание вотировало: „В настоящем положении дел, национальная гвардия признает лишь тех начальников, которых она себе даст сама“ (Enq 18 Mars, III, 14). Ожидая вступления пруссаков в Париж, собрание решило сопротивляться оружием этому вступлению. Чрез два дня распространилось известие, что орудия национальной гвардии оставлены в части Парижа, которая должна быть предоставлена неприятелю. Баталионы бросились к артиллерийским паркам, женщины тащили орудия по бульварам. В Батиньолях, на Монмартре, в Бельвиле, на площади Вогезов образовались парки, охраняемые национальной гвардией (Arn. I, 20 и след.). Весь Париж волновался.

Войска Винуа братались с народом. Колонна в 40 000 человек шла встречать пруссаков, которых ожидали на другой день. Вступление было отложено до 1 марта. В это время, по словам Лиссагарэ (76), произошло первое сближение между Центральным Комитетом нац. гвардии и прежними центрами агитации, заседавшими в la Corderie, — центрами, которые „сдержанно наблюдали этот Центральный Комитет, составленный из незнакомцев, которых никогда не видали в революционных битвах“. Под влиянием старых революционеров, прежнее решение сопротивляться вступлению пруссаков было оставлено и заменено более мирным: часть Парижа, занятую пруссаками, решено оцепить кордоном войск и национальной гвардии и изолировать совершенно. Эта афиша была первым формальным заявлением существования Центрального Комитета. Этой *единственной власти*, способной остановить волнение, которое могло кончиться страшною резнею, обрадовались все. Лишь 4 марта появилась на стенах Парижа красная афиша, которая извещала об образовании „Центрального Комитета республиканской федерации национальной гвардии“ (Enq. 18 Mars, III, 24). Этим революционным правительством вооруженное население Парижа отвечало на назначение начальником национальной гвардии Орель-де Паладин, в самый день этого назначения.

Социалистическим элементам в Париже пора было определить свое отношение к этой силе, возникшей среди Парижа и которую нельзя было считать по-

литическим элементом, имеющим определенную программу. Это было, собственно, почти все вооруженное население Парижа, вооруженный народ, который в самой значительной мере состоял из парижского пролетариата. Правда, в нем было немало и мелкой буржуазии, которую соединяло с пролетариатом лишь общее раздражение против „сельского большинства, стыда Франции“, как назвал Бордоское собрание громко Гастон Кремье (Liss. 68). Во всяком случае, тут дело было не о коалиции с заявленными противниками социализма, и в Федеральном Совете Интернационала 1 марта Варлен выступил с предложением: „Было бы весьма нужно, чтобы интернационалисты постарались всеми силами быть назначенными делегатами от рот, в которых они находятся, и чтобы они заседали в Центральном Комитете“. Это подало повод к довольно долгим прениям, в которых выказалось, что и теперь, 1 марта 1871 г., чрез полгода после падения империи, за несколько дней до взрыва Коммуны, руководящие личности парижского Интернационала все-таки не имели определенной политической программы, и что в среде Федерального Совета продолжала существовать прежняя двойственность между тенденцией к ограничению Интернационала чисто экономическими вопросами и неудержимым влечением принимать участие в исторических событиях. Франкель находил сближение с Центральным Комитетом „компромиссом с буржуазией“ и напоминал: „Наш путь международен; мы не должны

с него сходить“. Пенди боялся „компрометировать Интернационал“. Но другие указывали, что, становясь делегатами, интернационалисты „приобретают действительную силу“; что „влияние этих событий весьма значительно“ в минуту, когда войска Винуа отказываются слушаться его и братаются с народом. Варлен напоминал: „Если мы останемся одиноки в присутствии такой силы, наше влияние исчезнет; если мы соединимся с Комитетом, мы сделаем значительный шаг к социальному будущему“. Решено было послать в Комитет комиссию из четырех членов, но постановлено, что „их деятельность должна быть индивидуальна и специально сдержана во всем, что касается Международной Ассоциации Рабочих“. Все было, значит, предоставлено обстоятельствам.— Личное влияние делегатов Интернационала немедленно сказалось в собраниях Центрального Комитета. Громадное собрание представителей 200 батальонов в Воксале 3 марта приняло, по предложению Варлена, весьма серьезное решение сделать новые выборы офицеров национальной гвардии. Таким путем, *если бы было время*, без потрясения вся вооруженная сила Парижа перешла бы в руки влиятельных социалистов. Но планы их не ограничивались Парижем. В записке, разосланной журналам вслед за собранием 3 марта и среди подписей которой уже фигурирует имя Варлена, говорилось о плане „республиканской федерации национальной гвардии“ для охраны „всей страны“. Имелась в виду федерация, охватывающая все части

Франции и которая, при отсутствии влияния центрального правительства, могла без особенного затруднения сделаться могучим орудием переворота — опять-таки при условии, что *оставалось время* устроить эту организацию. — На том же собрании 3 марта выставлены были предложения: „Надо, чтобы вся национальная вся гвардия подчинялась приказаниям Центрального Комитета. Если военное начальство даст приказание в противоположном смысле, надо арестовать главный штаб“. „Постоянные армии должны быть отменены и заменены вооружением нации“. Сочувственные восклицания встретило даже предложение одного гражданина, „чтобы департамент Сены образовал независимую республику, если бы собрание в Бордо отняло у Парижа его значение столицы“ (Enq. 18 Mars. III, 22—23). В афишах, приглашавших к содействию федерации после провозглашения „Центрального Комитета“, сказано было, между прочим: „после длинного ряда подлостей (infamies), которые совершены большинством военных начальников из ненависти к республике, национальная гвардия не может, не изменяя в свою очередь отечеству, сохранить начальствование лицам, ей навязанным. Она должна повиноваться лишь начальникам избранным и которых она может всегда сменить“ (там же, 2). В новом собрании делегатов национальной гвардии 10 марта докладчик Арнольд говорил: „Всего более далеки от наших мыслей печальные и кровавые столкновения граждан между собою; мы протягиваем наши братские руки

всем нашим согражданам, всем народам, которые тоже наши братья. Но, однажды завоевав свободу распоряжаться собою, мы намерены сохранить ее" (там же, 30). Но Центральный Комитет фатально был отброшен на чисто революционный путь.

Министр внутренних дел Пикар, уже 3 марта издал объявление против „анонимного комитета“, приглашая „всех добрых граждан подавить эти преступные манифестации“, хотя, конечно, напрасно, так как в Париже не было ни силы, ни элементов силы для противодействия Центральному Комитету (Liss. 20). Несколько позже тот же Пикар говорил мэрам Парижа, что члены Комитета „рискуют головами“, а одному из этих членов указывал, что Орель де Паладин человек „неумолимый“, который подвергнет национальную гвардию „железной дисциплине“ (Enq. 18 Mars, III, 32). На слова министра Комитет отвечал резкими заявлениями; докладчик же Арнольд на собрании 10 марта причислил министра к людям „без убеждений и без сердца“ и назвал начальника, назначенного правительством национальной гвардии, — „обесчещенным генералом“ (там же, 32). В тот же день национальная гвардия обращалась к армии с дружественной прокламацией (там же, 34), в то самое время, как Винуа распустил (7 марта) 21.000 мобилей департамента Сены с крайне недостаточным пособием в 10 франков, увеличивая тем число оппозиционной армии (Liss. 83). С 6 марта Центральный Комитет заседал в la Corderie, в тесной духовной связи с социалистическими

и демократическими собраниями, сделавший это место центром своей деятельности. Попытка старых батальонных командиров создать другой комитет, который парализовал бы демократические тенденции существующего, не удалась, и оба комитета слились 10 марта, при решительном преобладании выборного начала. В Бордо и во Франции вообще очень плохо знали и понимали положение дел в Париже. Когда Артюр Арну приехал в Бордо в день вступления пруссаков в Париж, он увидел даже в крайних группах депутатов раздражение против Парижа, а в то же время „полное бессилие левой стороны собрания. Она была разделена на несколько небольших котерий без общих идей, без плана, без компаса, где господствовало несколько личностей, между которыми Луи Блан играл главную роль и роль систематического обессиления. Он в эту минуту управлял левой стороной, но не мог бы управлять революцией. В этом все объяснение его поведения". Волнения Парижа толкали депутатов, которые взяли на себя роль знаменосцев радикальных идей, на деятельность более решительную, чем та, которая приличествовала „скромности их мужества, бессодержательности их убеждений, действительности их эгоизма": это раздражало их против Парижа (Arn. I, 103—104). Уже 1 марта распространился в Бордо слух, что в Париже вспыхнуло восстание. Провинциальные префектуры сообщали официально о посылке войск в Париж для подавления мятежа. Делегаты, отправлявшиеся в Париж, находили его спо-

военным, но Пикар требовал действия; консерваторы советовали арестовать Центральный Комитет. Орэль-де-Паладин обещал „обеспечить уважение к законам и к собственности". Винуа 11 марта запретил шесть журналов, из которых четыре (именно „Cri du Peuple", «Mot d'Ordre», „Père Duchesne", „Vengeur") расходились в 200 000 экземпляров. В тот же день военный суд произнес смертный приговор над участниками восстания 31 октября (между прочим, над Флурансом и Бланки). В тот же день узнали в Париже о перенесении столицы в Версаль и о декретах относительно денежных обязательств и уплаты за квартиры, декретах, о которых сказано выше. В тот же день Варлен разъяснял одному приятелю, недели три отсутствовавшему из Парижа, что, с новой системой выборов начальства национальной гвардии, довольно значительная часть Парижа по обеим сторонам Сены находилась уже в руках социалистов, что „недели через две—три" весь Париж будет в руках начальников батальонов из социалистов, а там федерация с национальной гвардией провинции, при влиятельной пропаганде, создаст тем же путем силу вооруженного пролетариата во всей Франции. Две—три недели! До революции оставалось всего 7 дней.

С обеих сторон чувствовалась неизбежность столкновения. Вместо запрещенных журналов, самые разнообразные прокламации всех цветов и направлений покрывали стены Парижа. Осужденные на смерть, но не взятые, Флуранс и Бланки протесто-

вали путем афиш. Артиллерийские парки были окружены окопами. Новое собрание делегатов от 215 батальонов национальной гвардии провозгласило 15 марта своим начальником Гарибальди. Избираемые были так мало известны, что начальником артиллерии был избран помешанный Люлье, „имевший внешние признаки военного образования и, когда он не находился под влиянием алкоголя, производивший иногда впечатление чрезвычайно светлого ума“ (Liss. 86). Речь докладчика Арнольда кончалась словами: „Мы должны бодрствовать и сплачивать наши ряды; лишь таким образом мы, наконец, устроим единственный спасительный строй для нашей родины и для всего человечества: демократическую и социальную республику“ (Enq. 18 Mars, III, 39). В тот же день собирался Федеральный Совет Интернационала. К нему уже обращались за советами депутаты Гамбон и Пиа, так как он теперь имел в руках значительную силу. Совет решил пригласить на свое заседание *через неделю* некоторых депутатов Парижа (Рошфора, Мильера, Пиа, Гамбона, Тридона, Ранка, Малона и Толена), чтобы с ними обсудить план действия. Снова был поднят вопрос о специальном органе. Говорили об общем конгрессе Интернационала в Париже. Предложены были докладчиком Тэйсом новые статуты, но обсуждение их, несмотря на оппозицию Франкеля, было отложено *на две недели* (там же, 229—230). Центр действия и влияния, действительно, был тут, но плана действия все-таки не было на случай

нападения противников. Думали, что они не могут решиться на нападение, так как все силы, которыми могло распоряжаться правительство в Париже, не превосходили 25.000 человек и к тому же сильно деморализованных (Liss. 87). Пикар обещал мэрам, что без совещания с ними не будет ничего предпринято (Liss. 29). Центральный Комитет объявил, что он не начнет нападения и ограничится обороною (Liss. 86). Казалось, было время выжидать и укрепляться.

Но 15 марта Тьер вернулся в Париж; 17 марта вечером Орэль-де-Паладин собрал 40 батальонных начальников из округов, где еще новые выборы не произвели своего действия, где в офицерстве господствовала буржуазия, и спросил этих людей, на которых можно было рассчитывать: двинутся ли их батальоны за правительство? Они все отвечали отрицательно (Enq. 18 Mars, II, 406). Тем не менее, в то же время заседал Совет министров и решил атаку. В 3 часа утра 18 марта колонны двинулись, чтобы захватить 250 орудий народных парков. На стенах красовалось объявление правительства: „Правительство решилось действовать. Преступники, захотевшие учредить правительство, будут преданы правильным судам... Пусть хорошие граждане отделятся от дурных и помогут силам правительства... Во что бы то ни стало, порядок должен быть восстановлен немедленно во всей его целости и неприкосновенности“. Но едва население проснулось, успех первых часов нападения обра-

тился в нечто. Войска братались с народом или бежали. В 11 часов победа была решительною. Все правительство могло быть захвачено. Но плана действия не существовало. Центральный Комитет, ничего не предвидевший, ничего не знавший, *в половине четвертого* утра 18 марта (когда неприятельские колонны уже двигались) (Liss. App. II), должен был собраться лишь в 11 часов вечера. В 10 часов утра собралось в улице Бафруа лишь несколько членов без особенного влияния. Они занимались допросами арестованных. Более влиятельные (Варлен, Бержере, Арнольд) организовали защиту в своих округах. «В полдень все выжидали событий и ничего не решали» (там же, III). Между тем, в Пантеоне, на улице Севр, в 3-м округе готовые силы ждали распоряжений от Комитета. Лишь около 2 часов пополудни был составлен кое-какой план действия. Время, которое надо было употребить на атаку дезорганизованного и деморализованного врага, ушло на меры обороны против неприятеля, который не был в состоянии нападать. Вследствие полного отсутствия подготовленной заранее связи между частями революционной армии, «революционные кварталы, опасаясь новых нападений, не зная полноты своей победы, окружали себя сильными баррикадами и оставались на месте» (Liss. 20). Лишь в девятом часу вечера занята ратуша и префектура полиции (Liss. 97 и App.). Помешанный Люлье назначен был начальником национальной гвардии. Париж был в руках пролета-

риата, но его председатели, растерянные пред своим неожиданным могуществом, не принимали самых элементарных мер. Даже заставы Парижа не были заняты. Всю ночь через южные заставы уходили расстроенные войска Винуа, ругая жандармов; уходила артиллерия, обозы. Еще 19 марта утром продолжалась эта процессия и открытое переселение министерств. Чиновники всех ведомств, по приказанию Тьера, оставляли Париж. Некоторые мэры увезли печати, регистры и кассы из мэрий. В госпиталях оставлены были без всяких средств 6.000 больных. Форты, окружающие Париж, были брошены. Даже форт Mont Valerien, который должен был играть столь роковую роль в истории Коммуны, был очищен по приказанию Тьера и 36 часов оставался не занятым. Лишь 20 числа Винуа уговорил Тьера послать туда 1.000 человек. Все это время Люлье не сделал ни шагу, чтобы занять этот важный оборонительный пост. Когда он стал занимать форты национальной гвардией, он подумал о Mont Valerien под самый конец. Когда 20 марта вечером отряд национальной гвардии подошел к этому укреплению, оно уже было занято версальцами, но при деморализации войска, вероятно, было бы сдано, если бы попытка занять его была серьезна. Люлье удовольствовался *обещанием* начальника форта не действовать против Парижа. Впрочем, почти все надеялись, что дело обойдется без междоусобной войны (Liss. 100, 103, 120 и след.). Во всяком случае, когда Париж проснулся 19 мар-

та, он был в руках пролетариата. Прежнее правительство исчезло, и красное знамя развевалось на ратуше.

6. Центральный Комитет.

Революция совершилась. Опять вопрос был в том: кто *готов* стать во главе движения? И этот раз предшествовавшие факты отдали фатально Париж в руки *случайно* возникшей военной организации национальной гвардии, на которую *едва за две недели* пред тем начали действовать социально-революционные элементы, группировавшиеся в La Corderie и сами состоявшие, как мы видели, из самых разнообразных элементов по своему теоретическому направлению и подготовке. Против этой случайной, но фактической силы стояла в Париже легальная группа мэров и депутатов Парижа, выбранных в ноябре 1870 г. и в феврале 1871 г.; и здесь опять-таки, рядом с консерваторами, ненавидевшими все либеральные стремления, стоял целый штаб либералов и радикалов с громкими именами, с бесспорной ловкостью в политической полемике: Луи Блан, Флокэ, Клемансо, Локруа, Бонвалэ, Моттю, Ланглуа, Курнэ; там были, наконец, люди из рядов социалистической партии: Мильер, Малон, Толен, Элигон, Мюра, Жаклар. Если бы в обеих этих группах преобладали одинаковые влияния и они, соединившись, стали бы энергически на одну из сторон—восставшего Парижа или бежавшего правительства,—то

вопрос был бы решен почти немедленно. Если бы эти две группы вступили в борьбу, опираясь одна — на полное доверие руководящих элементов революции, другая — на столь же полное доверие правительства версальской палаты, то путем столкновения или соглашения между этими двумя группами, скорее можно было притти к какому-нибудь временному и мирному решению вопроса, к новой политической комбинации, которая дала бы время придумать план действия для будущего. Но дело было именно в том, что все было разъединено и никто не был, ни в Париже, ни в Версале, уверен ни в других, ни в себе. Центральный Комитет не приобрел еще доверия руководящих революционных элементов и сам был более всего смущен своим положением: он был во главе революции, которой не желал. Группа мэров и депутатов не пользовалась вовсе доверием Версаля и не могла опираться ни на какую материальную и физическую силу; да и в своей среде заключала, как мы только что видели, самые разнообразные элементы. Революционные элементы Парижа, соединенные в ненависти против правительства, руководились весьма разнообразными мотивами. В Версале, рядом с министерством, окружавшим Тьера, стояло большинство роялистов, готовое, при малейшей ошибке правительства, низвергнуть Тьера вместе с республикой. Единства не было нигде. Все было предоставлено случайности, личным влияниям и личной энергии разных участников движения. Но Версаль имел за себя рутину

легальности, рутину традиции. Политические либералы и радикалы собрания мэров и депутатов имели на своей стороне рутину давно привычных громких фраз. Против этих рутинных, но потому именно самых упорных сил истории, революционная партия могла успешно бороться лишь путем самой решительной и быстрой деятельности, чуждой всех компромиссов, полной сознания своей силы и своей цели, не допускавшей никаких колебаний. Но для этого не существовало основных условий, прежде всего недоставало немедленного сплочения между руководящими элементами революции и фактическим правительством -Центральным Комитетом национальной гвардии: затем недоставало полной уверенности в своем деле в Центральном Комитете, который во все время своей политической диктатуры смотрел на себя, как на нечто временное, ограничивался самыми необходимыми распоряжениями (поэтому неизбежно упускал из виду многое именно необходимое) и спешил свалить с себя обузу ответственности на другое правительство.

„Мы должны сознаться,—пишет Лефрансэ (173), —что принадлежали к тем, которые до 20 марта, т.-е. 48 часов после совершившейся революции, смотрели с беспокойством на неожиданное господство Центрального Комитета". И ранее (146—147): „Из всех лиц, подписи которых стояли под первыми прокламациями Центрального Комитета, заседавшего в ратуше, известны были действительно по своему направлению лишь Асси, Варлен, Ранвье и Люлье...

Что касается до прочих членов Комитета, подписавших прокламации... их подписи только что открыли их существование самым передовым группам социалистической партии, которой они были вовсе незнакомы. Это отсутствие известности составляет, должно сознаться, трудно одолимое препятствие для народа, который до сих пор знает безличное управление лишь по имени и долго еще, как мы опасаемся, предпочтет отдать власть в руки личностей, а не руководствоваться самидеею".

„Эта революция,—пишет Арт. Арну (II, 26 и след.),—была так мало предумышленна в действительности теми, на которых взвалили ответственность за все, что члены Центрального Комитета, сделавшись повелителями Парижа, вследствие победы национальной гвардии, которой они были единственными представителями, колебались в продолжение нескольких часов, следует ли им взять в руки власть, упавшую им в руки, и перейти в ратушу. Они устроились, наконец, там, узнав, что мэры и радикальные депутаты Парижа воздержались от этого... Озабочены были все: озабочена была революционная и социалистическая партия, которая очень хорошо чувствовала, что она потерпела принуждение извне и что ее вынудили действовать в минуту, которой она не выбрала; озабочены были люди, привыкшие рассчитывать шансы, когда они размышляли о пруссаках; озабочены были патриоты, страдавшие при мысли, что враги, чужеземцы, будут свидетелями наших раздоров: озабочены были республиканцы формали-

сты, опасавшиеся, чтобы эти волнения не обратили большинство страны против самой республики; она ообчена была, наконец, буржуазия, которая, опасаясь народа и презирая версальское собрание, не знала кому молиться, за что уцепиться... Ко всем этим мотивам опасения прибавлялся факт, может быть, в первый раз имевший место в истории, что новые люди, вынесенные событиями в ратушу, были совершенно незнакомы большинству населения. — Я сам, который должен был иметь сведения о личностях, как журналист, участвовавший в движении и находившийся в сношениях со всеми элементами социально революционной партии в продолжение нескольких лет,—я сам едва знал 5—6 имен из тех, которые подписали первые объявления Центрального Комитета... Что это были за люди? чего они стоили? что они сделают?—Все это были вопросительные пункты воинству, ужасные при столь трагическом положении. Первый город мира... не только находился в присутствии неизвестного, но принадлежал *неизвестным людям*. В ратуше заседало безъименное правительство, состоявшее почти исключительно из простых рабочих или мелких чиновников, три четверти имен которых не были известны далее их улицы или их мастерской. С какой угодно точки зрения — в этом было нечто неслыханное и страшное... Традиции была разрушена. Нечто неожиданное совершалось в мире. В правительстве не было ни одного члена управляющих классов. Вспыхнула революция, которая не была представлена ни одним *адвокатом*,

ни одним *депутатом*, ни одним *журналистом*, ни одним *генералом*. Их места занимали *черно-рабочий* из Крезо, *переплетчик*, *повар* и т. п.“. К этим свидетельствам участников движения Коммуны прибавим указание, что в заседании Федерального Совета Интернационала 22 и 23 марта заметно еще сильнее колебание, насколько Интернационалу следует поддерживать Комитет и не может ли последний компрометировать Интернационал. В то время, как все журналы заявляли, будто Интернационал захватил власть, в Федеральном Совете хлопотали о соглашении между Комитетом и мэрами Парижа, даже предлагали, чтобы, под влиянием секций Интернационала и рабочих обществ, „Комитет сложил с себя власть и передал городским выборным“. Если одни хотели, чтобы Интернационал „принял воинствующий характер“, то другие утверждали, что роль Интернационала заключается исключительно в пропаганде, сопротивлялись тому, чтобы рабочие общества были прямо брошены в действие; иные были даже против всякого манифеста со стороны Федерального Совета (Enq. 18 Mars, III, 235 и след.).

Если так думали представители самого развитого меньшинства Франции, люди, по самым убеждениям своим привыкшие разглядывать за внешностью вещей их суть, легко представить себе, как к новому „правительству неизвестных“ должна была относиться масса населения. И само это правительство, вынесенное обстоятельствами во главу движения,

поставленное в самое ответственное и самое трудное положение, нисколько не отличалось самоуверенностью. „Оно было, говорит Арт. Арну, „столь же обеспокоено своею неизвестностью, столь же взволновано ответственностью на нем лежащею, как и весь Париж“. Дело было далеко от той „народной диктатуры“, которую рисовал Мильер за год пред тем в статьях „Марсельезы“, далеко от той „audace“, которую требовал Дантон от народных предводителей. „Эти диктаторы, — пишет симпатичный им Арт. Арну (II, 32 и след.), — не ставят себя ни выше, ни вне толпы. Видно... что они с нею советуются каждую минуту... Они старательно уклоняются от решения некоторых вопросов, стараются сохранить положение дел, оставить все так, как оно есть, до той минуты, когда народ, путем свободных и правильных выборов, назначит власть, на которой будет лежать обязанность ставить определительно задачи и делать попытки их решения.— Центральный Комитет полагает, что его дело заключается только в том, чтобы обеспечить народу правильное, прямое представительство“.

Действительно, это скромное, несколько боязливое чувство грозной исторической ответственности и желание как можно скорее избавиться от нее проглядывает во всех прокламациях этого Центрального Комитета, в руки которого попали судьбы Парижа. Эти прокламации, по серьезности тона и по строгому соблюдению начала подчинения Комитета воле парижского народа, по отсутствию пустых фраз, за-

нимают довольно видное место в ряду этой отрасли политической литературы, и едва ли можно предположить, что их писал никому неизвестный мелкий торговый комиссионер, 32-летний Эдуард Моро. Но, признавая то полное отсутствие личного честолюбия, которое характеризовало членов Комитета в их деятельности, нельзя отгонять мысли, что, может быть, положение, в которое был поставлен Комитет, требовало бы иного. „Честь и спасение Комитета, — пишет Лиссагарэ (101), — заключались в том, что он имел одну мысль — передать власть Парижу“. Может быть, это было совершенно верно, если бы положение парижского пролетариата в эту грозную минуту его победы было иное; если бы он не имел столько ожесточенных политических врагов и вне Парижа, и в самом Париже, врагов временно расстроенных и деморализованных, но которые могли *очень скоро* оправиться и сделаться опасными; если бы, наконец, присутствие прусской армии в виду борющихся не придавало всей междоусобной борьбе особенно печальный характер в глазах неподготовленной Франции, живущей патриотической рутиной. Конечно, при данных условиях обвинять Комитет невозможно. Он сделал все, что было *для него* возможно при данных обстоятельствах. Он не был виноват в том, что передовые партии не позаботились или не могли *заранее* организоваться, сплотиться, стать влиятельною силою в Париже и во Франции и, при первом образовании этого Комитета, руководителя всеми вооруженными силами Парижа,

наполнять его своими представителями. Тогда, в первую же минуту борьбы, этот Комитет представлял бы не людей, незнакомых массе и сознававших свою неизвестность для массы, сознававших, что им недостает определенной, руководящей програмы, он состоял бы из сознательных и энергических представителей передовой партии народа, уверенных в себе и в своей програме, знающих, что они вынесены во власть не случаем, но заранее приобретенным доверием большинства: они говорили бы сознательно от имени передовой народной партии и были бы уверены, что их мнение есть отголосок руководящих мнений большинства. Подобный Комитет мог бы и должен был бы действовать иначе. Для него было бы непростительно дать врагам *10 дней* для того, чтобы оправиться, в то время как руководители пролетариата отказывались от обязанности и не признавали за собою права немедленно *руководить* пролетариатом. Теперь фатальная неподготовленность народных партий создала Комитет, который считал для себя обязательными эти 10 дней бездействия. Правда, были и в самый первый день заседания в Комитете голоса, требовавшие энергического действия, движения на Версаль и призыва, обращенного к Франции, ареста собрания мэров, которое хотело управлять Парижем по поручению Тьера; но эти голоса потерялись в большинстве, а может быть, при данном составе Комитета, были и действительно непрактичны. „Ваша роль вам не по росту и ваша единственная забота — избавиться от ответственности",

высказали свои члены (Liss. 106). В этом было много правды, но в минуту самого действия отсутствие предварительной организации и подготовки очень често отзывается тем, что роль выпадает людям не по их росту.

Уже то обстоятельство, что Центральный Комитет не был действительною властью в Париже с первой минуты совершившейся революции, успело вызвать печальные последствия. Еще утром 18 марта на Монмартре были расстреляны генералы Леконт и Клеман Тома. Члены Комитета так хорошо понимали вред, который им приносила эта фатальная случайность революционного взрыва, что Бержерэ воскликнул: „Это дело повлечет для нас потерю *ста тысяч человек*“ (Lefr. 150, прим.). Но этот факт, нисколько не зависевший от Центрального Комитета, был для врагов Парижа слишком выгоден, чтобы им не воспользоваться. При первых попытках посредничества мэров, Жюль Фавр отвечал: „С убийцами не вступают в переговоры“ (Liss. 98). Официальный журнал печатал: „Комитет, принявший название Центрального Комитета, хладнокровно совершил убийство генералов Клемана Тома и Леконта“ (Liss. 103). На улице Биржи элегантные господа произносили речи против насилия толпы и в прославление „жертв революции“ (Arn. II, 25). С тех пор самые очевидные доказательства не помешали врагам народного правительства повторять, что взрыв аффекта толпы, жертвою которого сделались два генерала, был обдуманным решением

самого Комитета, который так тщательно старался не брать на себя никаких мер вне совершенно необходимых.

Положение дел было весьма серьезно, но его серьезность была едва ли кому вполне ясна. Июньские дни 1849 года были настолько забыты, что, по словам Лиссагарэ (103), в Париже „никто не видел, что начиналась борьба на смерть с версальским собранием“. Мысль о соглашении занимала большинство умов. Неуверенность Комитета требовала одного—самых быстрых выборов в Коммуну. Комитет назначил выборы на 22 марта, но, неуверенный в себе, желая действовать в согласии с более легальным учреждением, вступил в бесконечные переговоры с собранием мэров и депутатов Парижа, готовый разделить с ними власть готовый идти на уступки, лишь бы достигнуть этого соглашения. Как будто оно было мыслимо между восставшим пролетариатом и представителями либерализма и радикализма, считавшими для себя чуть ли не оскорблением самые переговоры с какими то лавочниками и чернорабочими „без полномочий“! Большинство этих личностей, дорожа своим положением, считали себя легальными правителями Парижа (Тьер поручил выборным от города управлять им), закрывали глаза пред очевидною истиною что их ненавидели в Версале, как представителей либеральных принципов, и что они не имели ни влияния, ни силы в Париже. Все они желали оттянуть установление правильно выбранного правительства в Париже. Не-

которые из них, более ненавидевшие вооруженный пролетариат Парижа, чем опасавшиеся роялистов Версаля, прямо хотели дать Версалю время оправиться, собраться с силами против Парижа. Другие надеялись современем найти средство к соглашению и к возвращению потерянного влияния. Самые искренние находились под влиянием убеждения, что они могут отвоевать для Парижа некоторые права. И с этой стороны поразительно, как личности этой группы, принадлежавшие к совершенно различным направлениям, сходились в отстаивании своей воображаемой легальности в виду совершившейся революции. Когда утром 19 марта Артюр Арну пришел в их собрание, республиканец Шэльшер не хотел узнать его, прудонист Ланглуа ораторствовал, жестикулируя, об „убийцах генералов“, интернационалист Толэн пожал плечами и отвернулся, демократ Бриссон (бывший помощник мэра Парижа, подавший в отставку после 31 октября 1870 г.), сказал: „Мы должны доказать Франции, что республиканцы Собрания не имеют ничего общего с инсургентами и умеют защищать порядок и уважение к законам“. „Никогда — пишет Арт. Арну (II, 40) — я не видел лиц таких раздосадованных, настроения такого раздражительного, общего вида такого сварливого“. На совещании с Центральным Комитетом будущий соперник Гамбетты, Клемансо — „наполовину пособник попытки переворота (захвата орудий) наполовину обманутый этою попыткою“ (Liss. 107), — говорил: „Восстание имело незаконный

повод... Скоро Комитет станет смешон, и его декреты станут презираемы. Кроме этого, Париж не имеет права восставать против Франции и должен безусловно принять авторитет собрания. Для Комитета существует только один путь из этого безвыходного положения: передать место его собрания депутатам и мэрам, которые решились добыть от Собрания то, чего требует Париж". И Мильер, теоретик социальной революции в „Марсельезе", теперь член палаты, отвечал на заявления об автономии коммун, о их федерации (что все входило, как мы видели, в прежний его план): „Час социальной революции еще не пробил. Прогресс достигается более медленным путем... Я вас умоляю уступить место собранию депутатов и мэров; ваше доверие будет оправдано". Наконец, социалист — представитель рабочего движения, Малон, говорил: „Положение опасно... Ясно, что Собрание не захочет ничего слушать, пока Комитет будет занимать ратушу. Если же, напротив, Париж передаст себя своим законным представителям, я полагаю, что они могут сделать более, чем вы". Между тем, в самом Комитете, во время прений одни говорили о „социальной революции", о „федерации коммун", о „свободном городе Париже"; другие отрицали, что Комитет имеет полномочие рассуждать об этом, и ограничивали вопрос производством выборов. Варлен поставил требования чисто муниципальные: избранный муниципальный совет — отмену префектуры полиции, право для национальной гвардии выбирать свое начальство и на-

менять свою организацию, провозглашение республики, как правительства, признанного законом, уступку неуплаченных платежей по наймам квартир справедливый закон об уплате по векселям, свободу парижской территории от присутствия войск. Прения продолжались делегатами Комитета в собрании депутатов и мэров. Время уходило. „Париж, — пишет Арт. Арну (II, 48 и сл.), — город иллюзий.. Большинство населения так же горячо желало избежать междоусобной войны, как и твердо решилось отстаивать свои права... развить в своей среде новую жизнь, опирающуюся на принцип радикальной реформы, политической и социальной. Оно не представляло себе, что во Франции есть человек, способный мечтать, хотеть, приказать осаду столицы Франции. Оно не представляло себе, что есть во Франции французское правительство, способное мечтать, хотеть, приказать страшную истребительную войну против первого города в мире... Его мэры, его депутаты обещали ему уступки. Оно ждало этих уступок, рассчитывало на них, и даже те, которые лучше всех знали версальцев, которые всего лучше видели глубокую пропасть, зияющую под нашими ногами, не решились еще верить в столь отвратительную решимость... Это были фатальные иллюзии, как фатальна была неподвижность Центрального Комитета, так как всякая революция, не идущая вперед, осуждена на верное поражение“.

Выборы были отложены сперва на 23-е, потом на 26-е марта. Интернационал, наконец, решитель-

но приступил к делу Коммуны и пригласил всех своих приверженцев поддерживать выборы в нее. „Отсутствие солидарности, говорила его прокламация 23 марта („Mur. Pol.“ II, 52—53),—вызвало всеобщее разорение, породило войну в обществе: лишь помощью свободы, равенства, солидарности можно стремиться к утверждению порядка на новых основаниях, к новой организации труда, который есть первое условие порядка. Работники! коммунальная революция провозглашает эти принципы; она устраняет в будущем все поводы к столкновению... Независимость Коммуны составляет залог договора, свободно обсуждаемые условия которого прекратят сословный антагонизм и обеспечат общественное равенство. Мы требовали эмансипации работников, и коммунальное представительство гарантирует ее, так как оно даст каждому гражданину средство защищать свои права, действительно контролировать деятельность лиц, уполномоченных им на управление его интересами, и установить постепенное приложение общественных реформ... Работники! мы боролись, мы научились страдать за наш принцип равенства; мы не в праве отступить, когда мы можем содействовать тому, что будет положен первый камень общественного здания“. - Мэры и депутаты хотели оттянуть дело до первых чисел апреля. Варлен, член всех комиссий переговоров, к сожалению, более всех стремившийся к соглашению, два раза пошел на уступки, под влиянием группы, где господствовал Луи Блан, один из тех людей, но отра-

жению Арну, „с которыми нельзя вести знакомства, которых нельзя слушать, присутствия которых нельзя выносить, не испытывая некоторого умственного упадка, ослабления всех сил воли“. Комитет не должен был отречься от этих уступок. Но его нерешительность, его колебания, его воздержание от нападения на врагов произвели свое действие. Враги усиливались в самом Париже. На сторону деморализующей группы посредников и примирителей становилось большинство прессы: 33 журнала напечатали 21 марта общую прокламацию к избирателям Парижа, где отрицали право Комитета делать выборы и отсоветовали избирателям принимать в них участие (Lefr. 157—8; Liss. 124). На сторону мэров и депутатов Парижа стала молодежь политехнической школы и других буржуазных школ, прежние сторонники всех политических революций (Liss. 104). На площади Биржи группировались 21 марта вооруженные инсургенты против Комитета, сторонники версальского собрания. Они укрепились в мэриях нескольких округов, на главной станции железной дороги в Версаль и двинулись к Вандомской площади. Город был разделен на-двое. С двух сторон улицы Ришелье стояли часовые двух разных лагерей. В тот же день 21 марта Жюль Фавр громил в Версале Париж, находящийся в руках „горсти злодеев, которые ставят выше прав Собрания какой-то кровавый и хищный идеал“, и призывал Собрание к военным действиям против Парижа. Жалкие посредники-примирители, которым недоста

го перед тем было сказано в Комитете, что Комитет не может уступить им место, потому что „они не популярны и лишены всякого влияния в Собрании“ (Liss 109), теперь выслушивали из уст Тьера замечание: „К чему послужили бы уступки? Разве вы пользуетесь авторитетом в Париже? Разве вас слушают в ратуше?“ (Там же, 126). Наконец, Национальный банк, который выдал без сопротивления миллион 19 марта, теперь, 22 марта, становился неуступчив. Комитет не мог более оставаться в своем выжидающем положении, и едва он выказал энергию, его непосредственные враги, еще далеко не сильные, немедленно распались в прах. Новые генералы национальной гвардии (Брюнэль, Дюваль, Эд), назначенные вместо Люлье,—которого пришлось запереть, так как алкоголизм довел его до белой горячки,—были люди решительного действия. Они говорили: „Время парламентаризма прошло... Надо действовать“ (Liss. 135). При первой угрозе банк исполнил требования. Первое энергическое движение батальонов национальной гвардии обратило в ничто восстание приверженцев Версаля. Как только самые демократические члены группы мэров и депутатов (Мильер, Малон, Жаклар, Дерэр) сознали, что им не место в рядах примирителей, вся группа пошла на уступки. Этому помогло известие о провозглашении Коммуны в Лионе и сближение версальского правительства с бонапартистами (Liss. 134). Выборы были назначены на 26 марта общею прокламацией Центрального Комитета мэров и 5 де-

путатов Парижа (хотя и после мелкой борьбы самолюбий) и совершились в полном порядке. В них приняли участие 230.000 избирателей (более ⅔ наличных избирателей). (Arn. II, 55; Lefr. 175). 28 марта *Парижская Коммуна была провозглашена.*

Я не хочу доверять собственным впечатлениям этого дня. Не хочу цитировать и впечатления тех, которые приветствовали этот день, как первую, хоть весьма бледную зарю республики пролетариата. Подобно Лефрансэ (176) и Арну (II, 76), я приведу слова противника Коммуны, Мендеса (Les 73 jours de la Commune), об этом *народном* празднестве: „Один за другим выступали на площадь батальоны с музыкой во главе. Музыка играла Марсельезу, которую подхватывали 50.000 голосов. Этот вокальный гром волновал все души. Вдруг выстрелы. Пение усиливается. Громадная волна знамен, штыков, кепи движется, волнуется, теснится около эстрады. Пушки гремят, но их выстрелы слышно только в промежутках пения. Затем все голоса соединяются в одно восклицание, в один всеобщий голос бесчисленной толпы, и у всех этих людей одна душа, как один крик: „Да здравствует Коммуна!“

7. Коммуна.

Париж имел выборное правительство. Центральный Комитет был избавлен от своей диктатуры и

своей ответственности. Оставляя власть, он смело говорил парижанам: „Будьте братьями между собою и поручите братьям руководить вас. твердо и мужественно идите по пути будущего; проповедуйте примерами, доказывая другим ценность свободы, и вы наверное достигнете ближайшей цели — *Всемирной республики*“ (Mal 127). Новое правительство могло, наконец, действовать, не стесняясь затруднениями случайного положения Центрального Комитета... Но 10 дней было потеряно, и еще накануне выборов Тьер говорил Тирару (бывшему в числе кандидатов в Коммуну и выбранному на другой день): „Я уже организую заново армию. Надеюсь, что через две или три недели мы будем иметь достаточную силу, чтобы освободить Париж“ (Enq. 18 Mars, II, 342). Артюр Арну сознается, говоря о времени Коммуны (III, 101—102): „Время успешной борьбы против Версаля минуло. Она была возможна лишь в первые дни Центрального Комитета, а с тех пор все переменилось“.

Перед деятелями Коммуны стояло одновременно несколько задач крайне трудных, почти не разрешимых, и между тем все эти задачи приходилось решать зараз, решать сейчас же, и это возможно было только при самой большой энергии членов Коммуны, при их полной самоотверженности, при полном согласии между ними и при единстве их деятельности, при совершенной ясности для них того пути, которым следовало итти. Решение большинства этих задач было уже затруднено тем положением,

которое относительно их было принято Центральным Комитетом.

Прежде всего надо было существовать в Париже и организовать ежедневное удовлетворение потребностей полуторамиллионного населения при полном расстройстве всех учреждений и ведомств, так как Тьер постарался не оставить ни одного из них на месте.

Затем надо было вести войну против ожесточенного и неумолимого врага. Ему дали время опомниться и укрепиться. Несколько отрывочных коммунальных восстаний во Франции было уже подавлено. Приходилось отстаивать Париж от усиливающегося Версаля. В этом заключался „узел вопроса“, как выражается Артюр Арну (II. 156). Коммуна, — говорит Лиссагарэ (225), — это был „лагерь мятежников“. — Для того, чтобы эта вторая, самая насущная задача была исполнена, надо было, рядом с непосредственною борьбою против версальцев, отыскать союзников Парижу и подавить внутри его враждебные элементы. Приходилось, насколько можно, организовать содействие или хотя бы сочувствие внутри Франции и вне ее. Приходилось бороться против многочисленных внутренних врагов, которые наполняли Париж и вчера еще бунтовали около Биржи и на Вандомской площади, имели своих представителей в управлении, в национальной гвардии, имели свою прессу, свои собрания, почти явно сносились с версальцами и становились решительнее и дерзче при всякой неосторожности, при всякой

неудаче Коммуны. Приходилось поддерживать в этой борьбе дух населения, утомленного предшествующей долгой осадой, останавливать в нем рост деморализации, которая была неизбежным последствием всякой неудачи и всякой неосторожности. В этом отношении все зависело от первых дней борьбы: насколько первые удачные действия могли усилить энергию Парижа, продолжить и увеличить деморализацию в Версале, вызвать сочувствие и содействие во Франции, настолько первые решительные неудачи должны были иметь самое гибельное действие для сторонников Коммуны.

Третья задача заключалась в политическом самоопределении Коммуны, как формы государства. Как представитель парижского пролетариата в его новой революции, Совет Коммуны должен был заявить свои права на политическое существование, провести свою политическую программу в виду разнообразных претензий на руководство событиями, предъявленных около него. Он должен был выставить свою политическую программу и отстоять ее ввиду версальского правительства, которое имело за себя старую легальность и рутину; ввиду всей Франции, которая привыкла следовать примеру Парижа и смотреть с завистью на его фактическую диктатуру; ввиду многочисленных политических врагов Коммуны, экономических врагов пролетариата, находившихся в самом Париже; ввиду, наконец, личных честолюбий и разнообразных политических убеждений, существовавших одновременно в том самом революционном

конгломерате, который оказался руководителем дел 18 марта. Если Коммуне не суждено было одержать фактическую победу над врагами, то ее представителям предстояло, по крайней мере, провозгласить принципы, которые вызвали восстание парижского пролетариата против выборного правительства Франции, и эти принципы, заявленные в распоряжениях, которые не имели надежды быть немедленно приведенными в действие, могли составить завещание Парижской Коммуны 1871 года для будущего. „Так как Совет Коммуны, —говорит Лиссагарэ (253),— сделался силою вещей борцом за революцию, так как он присвоил себе права нации, то он должен провозгласить права, до которых додумался наш век, и если он погибнет, он должен оставить на своей могиле, по крайней мере, свое знамя“.

Можно было бы подумать, что всего хуже выйдет исполнение первой задачи, так как рабочим или журналистам приходилось браться за дело, которое, как обыкновенно думали, требовало долгой рутинной практики. Можно было надеяться, что даже в случае полной неудачи военного сопротивления, всего блистательнее выйдет исполнение последней задачи, так как, во всяком случае, в Коммуне присутствовали и ей содействовали все представители социалистической и радикально-демократической интеллигенции Парижа и почти всей Франции. Но оба эти предположения не оправдались. Как администраторы и организаторы управления обширного города, представители парижского пролетариата оказались и

только не хуже, но едва ли не лучше представителей обычной чиновничьей рутины. Практическая сообразительность, энергия и действительное желание принести пользу обществу легко побеждали здесь все препятствия. Но совсем иную картину представляет принципиальное самоопределение Коммуны; ни замечательный ум многих представителей движения, ни их самоотверженная энергия, ни их готовность жить для своих убеждений и умереть за них не могли заменить недостатка единства их взглядов на задачи революции 18 марта 1871 года, недостатка организации передовой партии, участвовавшей в этом движении, недостатка определенного плана действий в отношении к элементам, враждебным социализму, и лишь при внимательном рассмотрении разных элементов этого движения можно и теперь установить те принципиальные основания, которые составляли действительную подкладку пестрых событий этой эпохи и которые Коммуна завещала будущему, если и была бессильна ясно и определенно провести их в своей практической деятельности.

Финансы были в руках Журда, имевшего в 1868 году торговое заведение, и переплетчика Варлэна: во главе почтового ведомства стоял резчик Тейс: во главе монетного двора — Камелина, мастеровой по бронзовому делу: во главе общественных вспоможений — Трельяр, изгнанник 1851 года: телеграфы, государственные имущества находились под руководством Фонтэна; Фолье и Комбо должны были устроить ведомство сборов: Дебок (Debock) упра-

ока национальной типографией. Было уже сказано выше, что все эти ведомства были дезорганизованы Тьером при оставлении Парижа: большинство чиновников получило приказание переехать в Версаль под опасением удаления от службы. „Ни в ратуше, ни в министерствах, ни в одной из мэрий,—пишет Арт. Арну (II, 107),—не осталось ни одного чиновника. Чтобы знать, где находятся отделения, чтобы знать, например, где находятся книги, в которые вписывают браки, рождения, кончины, приходилось обращаться к швейцару, если он остался на месте, или терять целые дни на отыскивание самых простых вещей, спрятанных нарочно, часто увезенных. Когда я с Паскалем Груссе вошел в министерство иностранных дел, нашими руководителями были швейцар и чистильщик, которые, не имея возможности дать нам иные сведения, сообщили нам, по крайней мере, топографию здания. Итак, надо было все создать, от A до Z, все восстановить, начиная с записывания рождений и кончин, до выметания и освещения улиц". Между тем, под влиянием неутомимой энергии делегатов Коммуны, все главные отправления Парижа продолжались. Ежедневно находили 675.000 франков, чтобы оплачивать общественную службу, кормить 250.000 человек, удовлетворять потребностям войны. Все расходы Коммуны обошлись более 46 миллионов, и оборот совершался так же правильно, как в обычное время. В 46 часов был приведен в порядок сбор и раздача писем в Париже, и многие агенты бросали за

10 миль от Парижа письма в провинцию; при этом жалованье низших почтовых агентов было увеличено. Монетный двор действовал успешно, даже по усовершенствованным методам, и слитки ценностью в 1.100.000 были перечеканены в 5-франковые монеты. Госпитали, приюты, оставленные служащими и медиками, быстро получили правильную организацию и надлежащий персонал. Телеграфы, управление государственными имуществами, национальная типография действовали дешевле и правильнее, чем в обычное время (Liss. 241—244). Рабочие и мелкие чиновники-пролетарии оказались сразу способными вести все те отрасли общественной службы, которые составляют удовлетворение ежедневных потребностей общества и считались до тех пор неизбежною монополией людей, выросших среди канцелярской традиции и принадлежащих к господствующим классам.

Париж по провозглашении Коммуны быстро принял свой обычный вид. Население, жаждавшее успокоения после тяжелого периода первой осады и бурного периода, затем последовавшего до 28 марта, и надеявшееся на мирное разрешение столкновения между Парижем и Версалем, было готово вернуться к обычному порядку. Даже самые серьезные журналы буржуазии („Le Temps“) признавались, что они ошибались, отсоветуя гражданам приступать к выборам в Коммуну (Lanj. Corr. 161). Толпа искателей мест хлынула в Ратушу осаждать просьбами членов Коммуны (Lefr. 209), но она встретила

при трех других ожидавших. Порядок и безопасность на улицах Парижа не только не уменьшились, но увеличились с тех пор, как Париж сам стал наблюдать за благочинием. Ярмарка ветчины и ярмарка пряников справлялись в Париже обычным порядком в обычное время (Mur. Pol. II, 132—133, 203). „Никогда, — пишет Артур Арну (III, 78 и след.), — Париж не пользовался таким безусловным спокойствием, не был так безопасен в материальном отношении... Не было ни жандармов, ни судей! и не совершено ни одного проступка... Все сами наблюдали за своею безопасностью и за безопасностью каждого...“ И в другом месте (III, 47): „В эти два месяца был ли хоть один грабеж? была ли расхищена хоть одна касса? Проникли ли силою хотя в одно жилище вне политического повода... В 4-м округе, за двумя-тремя исключениями, самые богатые, как и самые бедные магазины оставались открытыми..., начиная с меняльщика, ювелира и часовщика, которые выставляют в своих витринах целые богатства, до магазина [illegible], бесчисленные предметы в котором казались насмешкою, вызовом для батальонов, идущих в траншеи, в грязи, под дождем, в дурной блузе, в слишком тонких панталонах, в дырявой обуви... В некоторых аристократических кварталах... магазины были, напротив, закрыты и бронированы ставнями, и эти закрытые ставни, которые вдоль улиц были как бы оскорблением победоносному народу, остались нетронуты, ни одна не была взломана“. При этом, — замечает Арну (III, 51),

вооруженные батальоны состояли из социалистов, которые, расходясь во многом, „сходились в экономических верованиях... Тут не было колебания о их праве и о его пределах. — Нет.— Они *понимали* свое право и *могли* осуществить его. Они *не захотели* просто потому, что, сознавая свое право, им противно было применять к нему насилие“. И таковы не только свидетельства сторонников Коммуны. Когда президент следственной комиссии спросил начальника полиции Клода о том, не увеличилось ли число преступлений в начале 1871 года, Клод отвечал положительно, что с января до 18 марта оно „уменьшилось“, относительно же времени Коммуны ему пришлось неохотно сознаться, что увеличение числа преступлений „не могло быть доказано“ (Enq 18 Mars, II, 206). Париж рабочих сумел охранить безопасность и спокойствие на улицах, даже слишком щепетильно охраняя материальное могущество своих непримиримых врагов.

К сожалению, дело было совсем иначе в той специальности, от которой зависело самое существование Коммуны,—в специальности военного дела. Участие в вооруженной обороне общества прежде входило в обязанность каждого свободного его члена, но уже в продолжение 400 лет выработалась специальная военная техника, которая отделила военных, как сословие, от массы общества. В период первой революции произошло временное слияние между войском и нацией в ее целом, но раскол еще усилился вследствие последующего развития

цезаризма и реакции, которая из войска стала вырабатывать в особенности пособников полиции для поддержки внутри государства существующих правительств. Материальные средства обороны в восставшем Париже были довольно значительны. „Коммуна, — пишет Лиссагарэ (207), — имела в своем распоряжении 60.000 человек, привыкших к бою, 200.000 ружей, 1.200 орудий, 5 отдельных фортов, линию укреплений, защищенную Монмартром, Бельвилем, Пантеоном, которые господствуют надо всем, военных припасов на несколько лет, если ей угодно — миллиарды богатств". Но ей недоставало военных людей. Ни социалисты, ни крайние демократы, выработавшиеся из классов мирного труда и кабинетных занятий, не могли дать специалистов по военному делу. Обычные занятия и обычный ход мысли деятелей народной революции сделали их чуждыми военной технике и мало способными даже контролировать действия военного начальства. В то же время традиции Конвента, комиссары которого распоряжались армиями, сменяли и гильотинировали генералов, вызвали в некоторых членах Коммуны стремление контролировать действия ведомства, которое могло сделаться опасным для общественной свободы, ведомства, из которого и в древнее, и в новое время выходили цезари-диктаторы. Таким образом, самые условия, в которых зародилась и действовала Коммуна, делали, с одной стороны, мало вероятным, чтобы из среды восставшего пролетариата могло выдвинуться достаточно специали-

стов военного дела для облегчения выбора из них способнейшего и для быстрой замены неспособных более надежными; с другой стороны, эти же условия вызывали недоверие к тому самому ведомству, от которого зависело самое существование революционного правительства; вызывали стеснения этого ведомства правительством, в сущности неспособным контролировать военное дело, а вследствие всего этого расстраивали военную дисциплину и лишали военное начальство возможности делать быстрые и энергические распоряжения в минуту, когда от быстроты и энергии этих распоряжений зависело все будущее Коммуны. Эти фатальные условия имели следствием сначала случайные выборы распорядителей военными делами; потом — многократную их смену вследствие непрерывного ряда неудач и во внешней деятельности, и во внутренних распоряжениях; наконец, при растущей деморализации и отсутствии дисциплины в национальной гвардии, полное бессилие даже способных, энергических и преданных делу личностей сделать что-либо для обороны Парижа. Ограничусь самым беглым очерком фактов.

Мы видели выше, что алкоголическое помешательство Люлье повело к его смене. Еще Центральный Комитет передал 24 марта начальство войсками трем делегатам: Брюнелю, Эду и Дювалю „до приезда Гарибальди“, который был провозглашен главнокомандующим еще 13 марта (Lanj. Corr. 136). При разделении Совета Коммуны на комиссии, Эд, Бержере, Дюваль и Флуранс были в числе

членов военной комиссии, а первые три, в то же время, в числе членов комиссии исполнительной. Звание главнокомандующего было уничтожено 1 апреля, Брюнель был устранен и начальство военными силами разделено между Эдом, Бержерэ и Дювалем (там же, 179). В тот же день Тьер объявлял Франции, что в Версале „приходит к концу организация одной из прекраснейших армий, которые когда-либо имела Франция" (там же, 184): армия эта, впрочем, едва доходила до 43.000 (Liss. 182). Но все зависело от первого успеха. Тьер решился атаковать. После 70 дней покоя по заключении перемирия с пруссаками, Париж услышал снова гром выстрелов 2 апреля. Первая неожиданная атака версальцев в Курбвуа была удачна. Начались расстреливания пленных инсургентов. Но этот первый выстрел вызвал пламенный энтузиазм Парижа. и 200.000 человек вооруженных собралось в несколько часов на улицах и на площадях для защиты свободы Коммуны [1]. Инсургенты требовали, чтобы их вели на Версаль. Уже несколько дней журнал Пиа призывал к атаке. В заседании исполнительной комиссии генералы Эд, Бержерэ, Дюваль настаивали на немедленном нападении. Но большинство исполнительной комиссии (Лефрансэ, Пиа, Тридон и Вальян) потребовало подробного отчета о состоянии военного

---

[1]) Я беру цифру 200.000 у Лефранса (217) и Артура Арну (II. 144). Лиссагарэ дает 80.000 (184), не указывая данных. Книга Арну вышла двумя годами позже Лиссагарэ, и он удерживает и подчеркивает принятую мною цифру.

персонала и материала, устройства мастерских для починки оружия, устройства провиантской и обозной службы, учреждения практической стрельбы в цель, и подало голоса против немедленной вылазки (Lefr. 219 и сл.). Тем не менее, 3 апреля вылазка была произведена. „Большинство баталионов, — пишет Лиссагарэ (186), — не имело начальников с 18 марта: национальная гвардия не имела кадров; генералы, бравшие на себя ответственность предводительствовать 40.000 человек, никогда не водили в бой и одного баталиона. Они пренебрегли самыми элементарными мерами, не сумели собрать ни артиллерии, ни обоза, ни госпитальных фур, забыли издать приказ, оставили солдат в продолжение нескольких часов без продовольствия под действием проницающего тумана. Вследствие этого каждый шел к тому начальнику, к которому вздумалось итти. Многие не имели патронов, думая, что это только демонстрация“. Более снисходительные и сдержанные Лефрансэ и Артюр Арну говорят: „Наши молодые генералы поняли дело иначе; уступив своему увлечению почти столько же, как благородному нетерпению армии Коммуны, они не побоялись взять на себя самую ужасную ответственность и не обратили внимания на только что объявленные им решения исполнительной комиссии... Всюду военные припасы и продовольствие пришли слишком поздно, или не были направлены в пункты, где в них нуждались. Расстройство достигло высшей степени и Коммуна была в этот день на два шага от своей гибели...

Эта двойная неудача попытки, плохо обдуманной и
дурно подготовленной, имела для коммуналистиче-
ского движения самые печальные последствия: кроме
того, что она уронила военные силы Коммуны в
глазах ее внешних врагов, она очень уменьшила
число ее солдат, которые потеряли доверие к на-
чальникам, начали дезертировать из батальонов. Это
поражение придало смелости и врагам внутренним"
(Lefr. 220—222). „Эта вылазка совершилась без
ведома Коммуны, без согласия и положительной ко-
миссии. Она совершилась как внезапный порыв, с
беспорядком, неизбежным при подобных обстоятель-
ствах, прежде чем артиллерия, доставка военных
припасов и продовольствия была обеспечена, вало-
нец. под огнем Mont Valérien... Эта вылазка была
ошибкою со всех точек зрения и потому, что она
была приготовлена без предосторожностей, необхо-
димых при столь сложной операции, и потому, что
она совершилась в ненормальных условиях, под
огнем неприятельской крепости, и потому, что она
подвергла с первого дня национальную гвардию
поражению, чего должно всегда избегать с моло-
дыми войсками, в высшой степени впечатлитель-
ными. — Существующий энтузиазм, двести тысяч
человек, требующих битвы, — это были, конечно,
значительные силы, серьезные поддержки для побе-
доносного сопротивления, но лишь при условии рас-
поряжаться этими силами искусно и бережливо.
Надо было внушить доверие этой армии граждан,
приучить ее ежедневно к войне, пускать ее в не

большие рекогносцировки, где бы она имела успех, а не ставить его на одну карту... Этого не поняли наши молодые генералы, допустив народному движению увлечь себя, вместо того, чтобы придать ему стройность и направить его... К этой первой ошибке они прибавили другую, не менее серьезную, пуская в дело армию Коммуны без согласия Коммуны" (Арн. II, 146—148). Слишком известен исход этой вылазки. Флуранс и Дюваль погибли. Mont Valérien, на нейтралитет которого надеялись, разгромил колонну инсургентов. Все отряды вернулись в Париж расстроенные, с громадными потерями, деморализованные. Эта неудача убила первый энтузиазм, убила веру в предводителей и была решительным ударом для всего движения. Можно сказать, что участь Парижа была в эту минуту решена.

Расстройство военного ведомства выказалось вполне. „Штаб был лишен направления, офицеры были импровизированы, большею частью неспособны: интендантство не существовало: администрация не существовала" — так рисует положение дел Малон (205). Эд и Бержерэ были лишены командования. Генералы были удалены из исполнительной комиссии и заменены Делеклюзом, Верморелем и Курнэ. Лефрансэ счел нужным выйти из нее (Lefr. 223 и след.). В руках Клюзерэ были концентрированы все военные операции. Его начальником штаба сделали Росселя. Это были единственные военные специалисты в армии Коммуны. Лица, стоявшие во

главе Лиссонов, „выказали вообще более личной храбрости, чем военных способностей". Тогда выдвинулись на первый план польские эмигранты революционеры: Ярослав Домбровский, Врублевский, а также участник войны против пруссаков, Ла Сесилия. Лиссагарэ, вообще резкий в своих отзывах, очень резко отзывается о Клюзерэ, „этом военном памфлетисте, который играл роль китайской тени в трех восстаниях" (209), этом „распущенном фанфароне, который был лишь неудачным рутинером фронта, несмотря на его новаторские замашки" (246). Но и Лефрансэ говорит, что „вследствие своих профессиональных предрассудков, Клюзерэ должен был играть в Коммуне роль Трошю. Подобно Трошю, он не верил ни в мужество национальной гвардии, ни, особенно, в возможность употребить с пользою для военных действий политические убеждения и увлечение федерированных батальонов. Наконец, подобно Трошю, он как будто решился выжидать, когда оба лагеря (осажденные и осаждающие), утомившись борьбою, окончат ее какою-либо сделкой". Но все историки согласны в крупной ошибке, сделанной им в первых же своих распоряжениях. Он начал реорганизацию национальной гвардии тем, что расстроил ее батальоны и, по примеру первой осады, отделил маршевые батальоны, заключающие всех граждан от 19 до 40 лет, от резервных. Это лишило Коммуну „самых энергических защитников, людей с седыми волосами, первых и последних в огне всех восстаний", говорит Лис-

спар» (219). „Это была самая гибельная мера“ — пишет Лефрансэ (230 и след.),—считая в 100.000 уменьшение оборонительных сил вследствие ее и замечая, что с тех пор баталионы не превосходили численностью 250 человек, а, в большей части случаев, 100 человек. „Ничто не ослабило так защиту, не дезорганизировало настолько баталионы“, — подтверждает и Артюр Арну (II, 149) и развивает подробно вред, принесенный этою мерою, которая разрушила только что развившееся единство баталионов, отнимала у Коммуны многих преданных защитников, принуждала итти драться за Коммуну людей, внутренно ей враждебных, оставляла в резервных баталионах вооруженными врагов Коммуны и начинала новую организацию, новые выборы начальства под огнем неприятеля. „Не следовало забывать,—пишет он (II, 150),—что междоусобная политическая война, все величие и все оправдание которой заключается в убеждениях участников, не солдат, но *живых идей*, не может быть ведена так, как война с чужеземным завоевателем“. Надо прибавить к этому, что именно молодежь Парижа, т.-е. персонал маршевых баталионов, вся выросла под развращающим влиянием империи (сорокалетним людям 1871 года было 20 лет в эпоху переворота) и, следовательно, почти все, хранившие традиции июньских идей 1848 г., были исключены из непосредственной защиты Коммуны. Много неудовольствий и обвинений и очень мало пользы принесла и мера *обязательной* службы для всех, под опа-

сением отнятия оружия. Между тем баррикадирование Парижа было пренебрежено; „Коммуна создала *комиссию баррикад*, публиковала по этому поводу распоряжение за распоряжением, даже истратила не мало денег, но ничего цельного и осмысленного сделано не было" (Arn II, 153). А военное начальство встречало препятствия во внутреннем недостатке дисциплины. Клюзерэ „был во вражде с Центральным Комитетом, которым Коммуна не сумела воспользоваться, не умев и отделаться от него, и который вполне сохранил свое влияние на федерированные войска" (Lefr. 251). Замена Бержерэ Домбровским вызвала не только неудовольствие, но и сопротивление. Бержерэ пришлось арестовать (Liss. 218). Домбровский скоро приобрел и сочувствие и доверие (см. слова Жоаннара в заседании Коммуны 25 апреля („Journ. Off.", № 116), но порядок в распоряжениях военного ведомства никогда не установился. И в то время, как начальники передовых сил требовали помощи, эта помощь была, большею частью, крайне недостаточна (Liss. 220 и далее много раз). Весь дальнейший ход обороны, при самых блестящих подвигах героизма, при самом поразительном самоотвержении меньшинства, представляет картину самой печальной дезорганизации. „Военная администрация, — говорил член Коммуны Растуль в заседании 25 апреля („Journ. Off.", № 116), это — организованная дезорганизация". „Генералы, — пишет Лиссагарэ (256 и след.), — получали лишь одно приказание: „защищайтесь!" Общего

плана никогда не существовало. Ни Клюзере, ни Россель не собирали военного совета. Войска были, таким образом, предоставлены сами себе, без забот и наблюдения. Смены были редки или их совсем не было. Вся тяжесть падала все на одних и тех же. Одни батальоны оставались в траншеях по 20 и по 30 дней, тогда как другие были постоянно в резерве... Эта беззаботность убила скоро всякую дисциплину. Люди храбрые скоро захотели зависеть лишь от самих себя; другие уклонялись от службы. Так же поступали и офицеры: одни бросали свой пост, чтобы итти на помощь соседу, выдерживавшему огонь; другие уходили в город... С 20 апреля, для всякого опытного глаза, дело обороны осуждено. Внутри города деятельные, преданные люди истощаются в утомительной борьбе с канцеляриями, комитетами, отделениями комитетов, с претензиями тысячи механизмов соперничествующих администраций, и теряют целый день, чтобы получить одну пушку. На брустверах несколько артиллеристов громят версальские линии и, требуя лишь хлеба и железа, оставляют свои орудия лишь тогда, когда их уносят бомбы. Отдельные форты, с пробитыми казематами, с разрушенными амбразурами, отвечают, смеясь, граду снарядов, падающих с высот. Храбрые застрельщики без прикрытия захватывают солдат армии в их норах. Самоотвержение, героизм возносятся (подобно букету ракет) сияющими столбами, чтобы погаснуть в пустоте. Пред вами как бы котел паровой машины, из которого пар уходит чрез

сотни отверстий.. Ведомство военного министерства было как бы темной комнатой, где все сталкивались. Канцелярия министерства была наполнена офицерами, простыми гвардейцами, которые требовали военных припасов, продовольствия, жаловались, что их не сменяют. Их отсылали в комендантство... В нижнем этаже Центральный Комитет, помещенный там Клюзеро, волновался в беспорядочных заседаниях... Артиллерийский комитет спорил из-за пушек с военным министерством... Никогда не удалось устроить одного общего парка, ни даже иметь точные сведения о числе орудий. Орудия дальнего бросания лежали до последней минуты у брустверов, между тем как фортам приходилось отвечать 7 сантиметровыми и 12 сантиметровыми орудиями на громадные морские орудия: доставленные снаряды часто не соответствовали калибру орудий. Интендантство, облепленное авантюристами всех сортов, брало поставки, закрыв глаза. Постройка баррикад... была поручена фантазеру, разбрасывавшему работы без всякого метода... Все прочие отрасли управления действовали также без руководящих принципов, без разграничения, цеплялись одна за другую, как попало... Генерал—призрак, растянувшись на канапе, выпускал приказания, циркуляры, то меланхолические, то пасторальные, и не двигал пальцем, чтобы наблюдать за их исполнением. Если какой-либо член Коммуны встревоживал его: „Что вы делаете? там-то грозит опасность", он гордо отвечал: „Я принял все предосто-

решимости: дайте время моим соображениям осуществиться".

30 апреля исполнительная комиссия сменила Клюзерэ и арестовала его, обвиняя в беззаботности, если не в измене. Управление военным делом было поручено Росселю, „молодому радикалу 28 лет, неразговорчивому пуританину... Его холодность, его техническая фразеология, ясность его речи, его маска великого человека восхитили канцелярию, но те, кто изучал его, заметили его непрямой взгляд, верный признак неспокойной души. Мало-по-малу, молодой офицер-революционер вошел в моду, и его фигура римского консула понравилась публике после распущенности Клюзерэ" (Liss. 246—247). На назначение его временным делегатом по военному делу Россель ответил исполнительной комиссии: „Я принимаю эти трудные обязанности, но, чтобы не быть подавленным обстоятельствами, мне нужно ваше содействие самое полное, самое безусловное (Lanj. Corr. 367)". „Россель,—говорит Артюр Арну (II, 155),—был только военный. Он никогда не верил в баррикады, так как солдат не любит и не понимает этой уличной войны, которая составляет самый дух народа, особенно народа парижского". „Никто,—пишет более резкий Лиссагарэ (272),—не понимал так мало Парижа, национальной гвардии". Он считал Père Duchesne истинным выражением рабочих. Едва назначенный, он вздумал разместить национальную гвардию по казармам, стрелять в беглецов. Он хотел расформировать легионы и образовать

[illegible] пять полк[illegible], в которых он назначал бы [illegible]ников. Центральный Комитет протестовал. Начальники пожаловались Коммуне, которая призвала в свою среду Росселя. Он изложил проект ясно, как специалист, сжато и точно... Совету показался он чем-то новым и прельстил совет. Однако, его проект состоял в расформировании национальной гвардии; общего же плана обороны он не давал... Он не дал никакого отчета о военном положении. Приказал постройку второго ряда баррикад и трех цитаделей в Монмартре, Трокадеро и Пантеоне, но сам не позаботился об этом... Никогда он не дал генералам никакой инструкции для нападения или для обороны". — Впрочем период управления Росселя военным делом в Коммуне был так короток, и положение его было так затруднительно, что очень не трудно было растеряться и наделать ошибки и более сильному уму и характеру. Уже 3 мая Центральный Комитет отправил в Коммуну депутацию, требуя себе распоряжения военным министерством. В Коммуне поддерживал эти претензии Феликс Пиа, ненавидевший Росселя (Liss. 273 и сл.). Отношение разных властей осталось неопределенным. Пиа посылал приказания Врублевскому помимо Росселя, и по этому поводу поднялся снова вопрос о том, „следует ли распустить Центральный Комитет или арестовать его, или поручить ему управление военным министерством" (Liss. 282). В то же время Россель собирался расстреливать депутацию начальников легионов, которые пришли к нему требовать отмены

ею распоряжений относительно национальной гвардии. Однако, дело кончилось переговорами, в которых Россель согласился, что сила не в его руках, но отрицал, чтобы федеральное начальство могло бы само сделать что-нибудь, и для доказательства требовал, чтобы ему собрали на другой день 12.000 человек на площадь Согласия. Собрать могли только между 7.000 и 10.000. В Коммуне требовали, между тем, ареста Росселя, который публиковал о занятии версальцами форта Исси. Тогда Россель, 9-го же мая, написал членам совета Коммуны: „Я не считаю себя способным нести более ответственность начальствования, где все обсуждают и никто не повинуется. Когда пришлось организовать артиллерию, Центральный артиллерийский комитет обсуждал, но ничего не предписал... Я хотел содействовать централизации оружия, реквизиции лошадей, преследованию уклоняющихся от службы... Коммуна обсуждала и ничего не решила... Центральный Комитет федерации почти навязывал свое содействие военному управлению... Я принял это содействие... С тех пор Центральный Комитет обсуждает, но еще не успел действовать. Между тем неприятель делал на форт Исси нападения, произведенные наудачу и легкомысленные, за которые я наказал бы его, если бы имел малейшую военную силу в своем распоряжении... Вчера, в то время, как все должны были быть на работе или в бою, начальники легионов совещались. Из их совещания получился проект, когда нужны были люди, и са-

уважения принципов, когда нужно было действовать.. Я не остановился бы пред репрессивными мерами, и вчера, пока батальоны легионов собирались, отряд, готовый расстрелять их, ждал на площади. Но я не хочу брать один на себя инициативу энергической меры, взвалить на себя одного непопулярные казни, которые надо было бы совершить, чтобы извлечь из этого хаоса организацию, послушание и победу... Предо мною два пути: сломить препятствие, которое мешает мне действовать, или удалиться. Я не сломлю препятствия, потому что препятствие это — вы и ваша слабость: я не хочу налагать руку на общественную власть. Я удаляюсь и имею честь просить для себя келью в тюрьме Мазас" (Lanj. Corr. 435—437). Письмо это появилось в журналах. Россель был смещен, отдан под суд, между тем как иные хотели сделать его диктатором. Призванный пред суд Коммуны, он скрылся. Делеклюз был назначен распорядителем военного дела. Лиссагарэ очень обвиняет Росселя, который, как думает этот автор, „по своему положению должен был с самого начала знать и лиц, с которыми он будет иметь дело, и средства, которыми будет располагать". Лиссагарэ говорит о панике, вызванной обнародованием письма Росселя. Но положение дел в военном отношении было уже так дурно, что ничто помочь ему не могло.

О Делеклюзе Лиссагарэ говорит (315): „Беспорядок, господствовавший в военном деле, сделал химерической всякую оборону. Делеклюз принес лишь

свое самоотвержение. Слабохарактерный, несмотря на свою резкую внешность, он зависел от своего штаба". Фио пишет (442): „Делеклюз, приняв власть, приносил на службу Коммуне лишь популярность своего имени и авторитет жизни, проведенной в борьбе и в страданиях за республику". Ланжалле и Корье замечают (440), что „его ум не мог заменить недостатка технических сведений". Но и о нем можно сказать, что никакие сведения не помогли бы в данном положении, а для чести Коммуны хорошо было, что хотя пред концом ее во главе военного дела стоял человек, которому верили и который находился в действительно сочувственных отношениях с героическими остатками защитников Парижа, расстроенными, дезорганизованными, чуждыми самых элементарных и необходимых элементов военной дисциплины в осажденном городе, но до конца стоявшими за красное знамя революции пролетариата с той furia francese, которая едва ли встречается у других наций. „Когда Делеклюз вступил в военное министерство,—пишет Артюр Арну (II, 155 и след.),—было уже очень поздно соображать и вознаградить потерянное время... Главная ошибка всех, касавшихся вблизи или издали до военного министерства... заключалась в желании вести войну правильную, *классическую*... *Большинство* (Коммуны) требовало постоянно революционных мер. Именно в этой области надо было приложить их. Здесь все было дозволено, потому что здесь лежал узел вопроса, и на почве

победоносной обороны соглашение установилось бы без борьбы, без насилия... Чего недоставало Коммуне, это — гениального военачальника, и гениального в смысле революционном; такого, который понял бы положение, создал бы для исключительных обстоятельств исключительный план. — Об этом подумали, но подумали неопределенно, отрывочно, непоследовательно. Ничто не было организовано... Знаете ли, почему никто об этом не подумал, или, если подумал, то не нашел около себя сочувствия? Потому что этого не было в революционной традиции. Париж не был осажден в 1793 г., Конвент не принял никаких мер этого рода... Прошедшее тяготело над нами все время и вместо того, чтобы применять действия к обстоятельствам, иные подумали, что, повторяя действия отцов, мы спасем Коммуну, как люди Конвента на минуту спасли родину и республику".

Рассказывать военную агонию Коммуны было бы лишнее: сделавшись уже неотвратимым последствием всего предыдущего, эта агония проходила через свои фатальные фазисы. Первое и единственное собрание военного совета в осажденном Париже имело место 13 мая (Liss. 314). Версальцы вступили в Париж 21 мая. Оборона вся была предоставлена личной инициативе. „Если бы малейший общий план, — пишет Лиссагарэ (358), — руководил могучими средствами обороны, если бы Монмартр и Пантеон встретили неприятеля перекрестным огнем, версальское войско расплавилось бы в Париже". Делеклюз на-

печати 22 мая прокламацию: „Довольно милитаризма!.. Дайте место народу, бойцам с голыми руками! Пробил час революционной войны... Народ ничего не понимает в ученых маневрах. Но, когда у него в руке ружье, под ногами камень улиц, он не боится никаких стратегистов монархической школы! — К оружию, граждане!.. Коммуна полагается на вас, положитесь на Коммуну!“ (Mur. Pol. II, 558). „Когда военный министр осуждает всякую дисциплину,—пишет Лиссагарэ по поводу этой прокламации (340), кто же захочет еще повиноваться? Если он отказывается от всякого метода, кто захочет рассуждать? И вот сотни людей откажутся оставить свою улицу, не будут обращать внимания на исход соседнего квартала, останутся неподвижными до конца и будут ждать, пока армия придет их брать сама.“

На другой день взят „без битвы, без осады, даже без малейшего протеста“ Монмартр. „Эта неприступная крепость,—пишет Лиссагарэ (363),—где несколько сот решительных людей могли бы продержаться против всей армии версальцев“. В тот же день был убит Домбровский. 25 мая убит Делеклюз. В 11 часов утра 28 мая взята последняя баррикада на улице Рампонно, защищенная в последнюю четверть часа *одним* человеком (Liss. 423).—Окончилась „кровавая неделя“, которая едва ли была превзойдена чем-либо в истории так называемой цивилизации по бешенству реакции, по безобразию и возмутительности убийств, совершенных

„представителями легальности“, под руководством „освободителя“ Тьера и при аплодисментах всей позорной банды французского либерализма, радикализма и даже выдохшегося социализма учеников Прудона и последователей „Луи-Блана, всех этих патриотов и свободных мыслителей, которые, в промежутке между двумя доносами или между двумя казнями, называли себя вольтерианцами, материалистами, позитивистами, масонами, филантропами, борцами за свободу и истину. Грязь и кровь, которою запачкали свои руки *все* эти сторонники Тьера, Мак-Магона, Гамбетты, *все* эти участники в привете версальской армии палачей, *все* эти пособники „комиссии убийц“, присутствовавшие, не возмущаясь и не краснея за Францию, при всем процессе „помилований“ этой комиссии, никогда не смоются с их имен, заклейменных историею, как бы имена эти ни были громки в других сферах деятельности, и надо надеяться, что *хотя бы этот раз* французский пролетариат *не забудет* имена и дела этих людей при первой своей победе. „Надо обратиться,—пишет довольно умеренный либерал Фио (566),—к проскрипциям Суллы, Антония и Октавия, чтобы встретить такие убийства в истории цивилизованных наций; религиозные войны при последних Валуа, Варфоломеевская ночь, эпоха Террора были в сравнении с ними детскими играми. В одну последнюю неделю мая в Париже поднято 17.000 трупов федерированных инсургентов... Убивали еще около 15 июня“. В Манифесте Генерального Сове-

та Интернаціонала находимъ еще ранѣе то же сравненіе „кровавой недѣли" съ эпохой проскрипцій тріумвировъ („Civ. War.", 29—30): „Та же хладнокровная бойня огуломъ. То же отсутствіе вниманія при убійствахъ къ возрасту и полу, та же система мучить плѣнныхъ; тѣ же проскрипціи, но охватывающія теперь цѣлый классъ людей; та же дикая охота за скрывшимися предводителями изъ опасенія, чтобы который-либо не ускользнулъ; тѣ же доносы на политическихъ и частныхъ враговъ; то же полное равнодушіе къ избіенію лицъ, совершенно чуждыхъ столкновенію. Разница была лишь въ томъ, что у римлянъ не было митральезъ, чтобы истреблять разомъ толпы подпавшихъ проскрипціи; что они убивали не „во имя закона" и не взывали къ „цивилизаціи". — Эта „цивилизація" возмущала даже корреспондентовъ англійскихъ *консервативныхъ* газетъ, когда они видѣли, что на бульварахъ, въ кафе и въ cabinets particuliers шумно пили и развратничали всю ночь побѣдители въ то самое время, когда по улицамъ гнали толпами жертвъ на разстрѣляніе, отъ времени до времени гремѣли митральезы вдалекѣ и 6.000 инсургентовъ бродило въ лабиринтахъ парижскихъ катакомбъ. Даже дрянная душонка журналиста Эрве (Hervé) разглядѣла въ этомъ праздничномъ среди крови Парижѣ — „парижанъ эпохи паденія (les parisiens de la décadence)".

Въ предыдущемъ очеркѣ я упомянулъ лишь о непосредственныхъ военныхъ дѣйствіяхъ противъ Версаля, такъ какъ мѣры для того, чтобы вызвать парижскому

реакционных элементов внутри Франции и обеспечить себе внешнюю поддержку, а также меры для проведения внутренних реформ, тесно связаны с внутренней политическою историею Коммуны, с тою деятельностью, помощью которой ее Совет формулировал и осуществлял свою политическую программу, как представитель революции пролетариата. Посмотрим, что было сделано и что могло быть сделано в этом отношении Советом Коммуны в том составе, в котором он [illegible] 28 марта 1871 г., когда [illegible], громовые звуки „Марсельезы", приветственные выстрелы артиллерии, и Коммуна стала лицом к лицу со своею политическою задачею.

Совершившаяся революция была торжеством пролетариата; как же мог заявить себя [illegible] пролетариату? Если рабочий социализм, провозглашенный Интернационалом, был социальною истиною, то переворот экономический был единственным насущным, и экономической задаче должны были подчиняться все политические отношения. Как говорили Мильеры и Верморели, надо было установить *равенство* путем экономическим, и тогда только можно было осуществить политическую *свободу* для всех и каждого. Пока экономическое неравенство существовало и тяготело над большинством, невозможно было ни правильно поставить, ни удовлетворительно решить ни [illegible] вопросы о свободе собраний, о правильных выборах представителей, об отношениях администрации к администрируемым, об авто-

помимо личности в группе, группы в обширном политическом целом, об автономии и федерации коммун ввиду политического единства Франции. Только решительный переворот, который сразу поставил бы экономически пролетариев в уровень с их вчерашними хозяевами, дал бы здоровый базис для построения политического целого, которое осуществило бы революцию в пользу пролетариата. Но чтобы подобный базис мог быть сразу завоеван, чтобы подобный переворот мог совершиться, необходимо было, чтобы *заранее* план этого переворота и значение для него экономического базиса были выработаны в своих главных началах; необходимо было, чтобы в среде пролетариата и сочувствующих ему групп или единиц из более обеспеченных классов была *заранее* организована партия, решившаяся действовать по этому плану; необходимо было, чтобы в минуту взрыва эта партия вынесла во главу движения представителей своей мысли, сознающих свою революционную миссию, готовых принять на себя ответственность за шаг, который заключает в себе всегда много загадочного и неверного, личностей, вполне определенно относящихся к частным задачам революции; необходимо было, чтобы эти люди были в новом правительстве достаточно многочисленны и между собою с первого же шага достаточно согласны, чтобы отстоять свой план против товарищей, которые не усвоили бы еще смысла борьбы пролетариата с господствующими силами старого общества; необходимо было, чтобы это большинство революцион-

ного правительства, вынесенное во главу своими сторонниками, явилось пред победоносным пролетариатом с определенною программою, не навязывая массам искусственно фантастический строй, им непонятный, но предлагая в своей программе массы тем понимание их интересов, которое позволило бы программе, предложенной новым правительством, с первой же минуты быть усвоенной массами, как их же мысли, желания, стремления, только выраженные ясно, сжато, систематически, определенно, и поэтому позволило бы этой программе быть немедленно осуществимой. Представители пролетариата в правительстве должны были быть самою сильною группою, самою определенною по своей теоретической программе нового строя, самою решительною по практическим мерам, ею предлагаемым. Только тогда они могли восторжествовать над рутиною сторонников традиционной политики, над неизбежным отсутствием логического понимания у масс, которые всегда идут за тем, кто менее колеблется в мысли и в действии.

Мог ли Совет коммуны 28 марта удовлетворить этим требованиям?

Там были представители нового движения рабочего социализма, но они были в меньшинстве; это были частью рабочие, избранные под растущим влиянием Интернационала (между прочим: Варлен, Малон, венгерец Франкель, Дюваль, Ранвье, Тейс: всего 25 рабочих), частью представители социалистической прессы или народных собраний (Лефранс

Вермореля, Лонге, Артур Арну, Валлес) или отдельные личности, примкнувшие к Интернационалу и социализму из господствующих классов (Бело, Журд, Курбэ). Большинство группировалось около традиционной программы революционного якобинизма, представителями которого были люди 1848 г., старые борцы, имевшие наибольшее влияние на товарищей (Делеклюз, Гамбон, Феликс Пиа) или около диктаториальной программы Бланки (сам Бланки был арестован вне Парижа и никогда не заседал в Коммуне, но наиболее замечательные представители его идей были: Рауль Риго, Ферре, Паскаль Груссе, Вальян) [1]. Обе последние группы скоро слились в одну. — К этим революционным элементам, участвовавшим в движении, которое разрешилось взрывом 18 марта, присоединялся в выборах политической общины Парижа и элемент противников этой революции. В нем были консерваторы, как Тирар, находившиеся в непосредственных сношениях с Тьером; там были непродумавшие своей задачи социалисты-прудонисты, как Мюра, книжные демократы, как позитивист Робинэ. Были там и требующие сближения со всеми элементами, балансирующие сторонники будущего оппортюнизма: Ранк, Улис Парен. Были и искренние сторонники невозможного примирения с Версалем. Почти все эти личности или сейчас, или очень скоро вышли из Совета Коммуны;

[1] В предыдущем я не отличаю избранных 22 марта от избранных 16 апреля.

ли могли бы быть представителями Парижа — свободного города под управлением буржуазии, но были совершенно неучастны в совете общины, которая волею или неволею, сознательно или бессознательно, полно или неполно, но все-таки представляла революцию пролетариата и хоть бы слабую попытку создать формы общества, соответствующие этой революции. — К этим группам и личностям, выражавшим разнообразные политические тенденции, присоединялся еще хвост *случайных* кандидатов в Коммуну, получивших законное большинство голосов, вследствие разнообразных влияний, действовавших в Париже при отсутствии народных организованных партий. Значительное число кандидатур в Коммуну, пишет Лиссагарэ (175), — „возникли в публичных собраниях, доведенных до белокалильного жара противодействием мэров“ и давших „первых попавшихся фразеров, все имущество которых заключалось в нескольких рутинных изречениях 93 года, или самых резких жестикуляторов, иногда даже не проверив их прошлого“. „Большинство избранных — говорит он далее о членах Совета Коммуны, — принадлежало к мелкой буржуазии и к так называемым либеральным профессиям; это — счетчики, публицисты, мелкие юристы. Вне немногих, серьезно изучивших дело, это — полузнаменитости журнального мира, общественных собраний, столь же чуждые политическому и административному механизму буржуазии, как и рабочие, но при этом проникнутые чрезмерным желанием выставлять всюду свою личность.

Как господствующий элемент, так и меньшинство состояла из революционной партии, загроможденной рекламистами и тщеславными паразитами, которых могли удалить из ее среды лишь время и опыт. Но времени недостало. На долю народа иногда не приходится больше одного часа. Горе ему, если он тогда не готов, не вооружен вполне". — Подобные опрометчивые выборы, как те, которые сделались в этом случае, произойдут всегда, когда решение предоставлено случайностям, и кандидаты не выставляются заранее организованными партиями с обдуманными и ясно определенными целями. Некоторые выборы оказались в этом случае более, чем опрометчивы. Коммуне пришлось самой исключать двух своих членов, Бланше (собственно Пурилля) и Эмиля Клемана, как бывших шпионов, злостных банкротов („Journ. Off." № 126, 141), и пришлось удалить и помянутого Аллекса (Arn. II 117; „Journ. Off.", № 132). Само собою разумеется, что не было парламента в Европе, где не нашлось бы гораздо больший процент известных мошенников, которых никогда не думали исключать, но то, что проходит незаметным и кажется естественным в собраниях рутинного легализма, вызывает громкие крики и бесконечные укоры, когда дело идет о собрании, которое является представителем идей передовых и революционных.

Конечно, в этом совете Коммуны, куда отсутствие предварительной организации передовой партии дало возможность проникнуть слишком многим неспособ-

ными и вредными элементами, можно было рассчитывать на преобладание наиболее развитого и энергического меньшинства над случайно попавшими туда элементами. Но и тут специальное положение Коммуны и сложность ее задач имели следствием, что подобное сплочение групп естественных руководителей прениями и распоряжениями Совета не могло иметь места. В то самое время, когда Коммуна должна была действовать как центральный руководитель, как правительственное целое, ее членам приходилось разбрасываться на тысячи работ и утомляться этим разбрасыванием до последней крайности. Артюр Арну так свидетельствует о занятиях членов Коммуны (II, 110 и след.): „Мы были истощены работой, подавлены утомлением, не имея для себя ни минуты отдыха, ни мгновения, когда спокойное размышление могло бы иметь место и оказать свое благотворное влияние... Как члены Коммуны, мы вообще заседали два раза в сутки: в 2 часа и вечером до глубокой ночи... Кроме того, каждый из нас был членом комиссии, соответствовавшей разным министерствам, и которой была поручена администрация одного из отделов: *народное просвещение, военное дело, продовольствие, внешние сношения, полиция* и т. д.[1]), управление которыми было достаточно, чтобы на него употребить все силы одного человека. С другой стороны, мы были мэры, чиновники внутреннего управления, и соста-

[1]) Всех комиссий было 10

вѣдая администрацію нашихъ округовъ[1]). Многіе изъ насъ начальствовали командами въ національной гвардіи, и не было, можетъ быть, ни одного изъ насъ, которому не приходилось бы ежеминутно бѣжать на аванпосты, отправляться въ форты, чтобы поддерживать духъ сражающихся, выслушивать ихъ требованія, распоряжаться по этому поводу или составлять себѣ понятіе о военномъ положеніи. Итакъ, каждому изъ насъ приходилось, въ этихъ ужасныхъ условіяхъ, когда малѣйшая ошибка, малѣйшее неправильное движеніе могло компрометировать все, принимать на себя и совершать тысячу разнообразныхъ работъ, которыя требовали бы восемь или десять человѣкъ... Кромѣ того, ни одно засѣданіе не проходило безъ неожиданныхъ эпизодовъ, которые внезапно отвращали умы отъ благоразумнаго и зрѣлаго разсужденія, чтобы вызвать страсти". Совершенно понятно, что именно интеллигентное, развитое меньшинство членовъ Коммуны было завалено самыми разнообразными порученіями и отвлечено отъ засѣданій въ центральномъ учрежденіи. Изъ 78 членовъ иные (какъ Клюзеръ) никогда, другіе (Брюнель, Эдъ, Бержере) почти никогда не засѣдали въ Совѣтѣ; „въ дѣйствительности всегда недоставало, по крайней мѣрѣ, 20 человѣкъ, отсутствіе которыхъ понижало до 50 число тѣхъ, которые обсуждали и вотировали декреты" (Арн. II, 116), а такъ какъ „естественно, съ разными порученіями, или делегатами въ разныя министерства, назначались люди

[1]) Декретъ 31 марта (Lanj. Сент. 175).

умственному влечению которых наиболее доверяли, то собрание, которое заседало, обсуждало, вотировало, было часто лишено присутствия большинства тех, которые могли бы оказывать самое благотворное и преобладающее влияние на решения, принятые под влиянием действительного меньшинства личностей, более ревностных, чем понимающих дело" (там же, 117). Совершенно понятно, что при этих условиях люди традиционной рутины имели много шансов преобладать над представителями передовой программы, и лишь энергическое и согласное установление программы передовою партиею могло придать сколько-нибудь единства и целесообразности деятельности Совета Коммуны, как центрального, руководящего целого.

Но были ли люди этой передовой партии — интернационалисты, рабочие-социалисты, представители социалистической прессы — готовы действовать по одному плану, по одной определенной программе? Мы видели, что прошедшее давало мало ручательства в этом отношении. В Интернационал проникли во время первой осады крайне разнообразные революционные элементы и накануне 18 марта только что думали о преобразовании секций, о новой организации, которая придала бы парижскому Интернационалу более силы и единства; конечно, во время Коммуны, некогда было уже этим заниматься. Организация рабочей партии была далека до надлежащей выработки, когда пролетариат оказался господствующим в Париже. Журналисты социалистической

время были так разнообразно настроены, что мы видели Мильера, который недавно писал о революционной диктатуре, действующим в числе примирительных и дезорганизующих депутатов и мэров; этот один из сильнейших умов партии держался некоторое время вдали от Коммуны и работал в „La Commune" рядом с прудонистом Дюшеном, который 19 мая писал о „бессмыслии и глупости шалопаев (polissons) и жалких людей (drôles)", как он называл членов Коммуны. К концу апреля Мильер снова совершенно примкнул к движению и пытался организовать действие Парижа на Францию, но ему никогда не доверяли в ратуше (Liss 264). Верморель после революции 18 марта стал издавать журнал „L'Ordre" (вышло 4 номера; № 1—20 марта), который имел целью предотвратить междоусобную войну и призывал к деятельности парижскую буржуазию (!), чтобы устранить как версальскую реакцию, так и революционное правительство, которые могли бы Парижу навязать Бельвилль и Монмартр; уговаривал эту буржуазию, т.-е. главным образом сторонников той самой „либеральной партии", которую он так энергически казнил еще недавно — создать „правильную власть, признанную и уважаемую всем населением Парижа". — При этом разброде мыслей, при этом отсутствии заранее установившегося взгляда на задачу революции пролетариата, трудно было ожидать единства в передовых группах, присутствовавших в Совете Коммуны.

Из 23 членов Коммуны, принадлежавших Интер-

радикализму — опять перешли в группу большинства следовавшего якобинской традиции. Остальные со ставили с первого дня, по словам Малона (136), сплотную группу [2]), но им „не доставало знания и опытности, необходимых для политических деяте лей... Их жизнь была жизнь труда и утомления, и лишь в свободное время, насчет необходимого от дыха, они могли научаться тому немногому, что они знали" (Mal 148). Кроме того, именно они, наиболее знакомые в своих округах, были наиболее поглощены мелкою работою в мэриях, в разных местах Парижа.—Естественным элементом связи и руководящим идей должны были быть люди социали стической литературы, но в этом отношении резуль тат предшествующего разъединения и отсутствие организации горько отозвался в эту трудную ми нуту и это отразилось в книге Артюра Арну. „Кроме Вэлэ и Л. франсэ, — пишет он,—ни один из нас (социалистического меньшинства в Совете Ком муны) не мог деятельно участвовать в событиях, предшествовавших империи... Проснувшись к праж ственной жизни под ярмом, мы его ненавидели, бо ролись с ним каждый по своему, кто с пером в руках, кто живым словом, кто путем организации

---

[1]) Фрибург [illegible] следственной комиссией говорит о 18 чле нах Интернационала в Совете Коммуны (Enq. 18 Mars. II, 570); [illegible] Малону, который называет 17 выбранных 26 мар та (Mal. 131—135) и 6 выбранных 16 апреля (153).

[2]) Впрочем, не совсем сплотную, так как Варлэна и [illegible] Франкеля мы встречаем не раз в рядах голосующих со сторонниками большинства.

рабочего движения, как Варлен и другие члены Международной Ассоциации, которых социализм привел к революции, как некоторых из нас революция привела к социализму (II, 88)... Долго не было никакого соглашения между теми, которые должны были составить меньшинство. Мы мало знали друг друга. Всякий следовал своему темпераменту, говорил и вотировал согласно своему политическому идеалу, согласно своим принципам, как их случайно выдвигали на очередь ежедневные вопросы... Лично я знал лишь двух или трех из будущих *двадцати двух*. Я был в сношениях с Лефрансе лишь с 4 сентября, и эти сношения были еще очень редки и поверхностны. Я знал также Верморея, но в это время я разделял недоверие, которое он, вообще, внушал революционной партии и избегал всех сношений с ним... Я имел там лишь одного личного друга. Это был Жюль Валлес. Кроме его и двух названных бойцов, к которым надо прибавить Малона, Пенди, Варлена, Авриаля, остальные мне были совершенно чужды" (II, 94–95). — „Истинное социалистическое меньшинство, действовавшее за одно и имевшее общую программу, образовалось лишь постепенно, индивидуальными присоединениями разных членов, которые, один за другим, в присутствии ошибок большинства, утомленные событиями, или бессодержательностью прославленных мер, отпадали от большинства, чтобы перейти в другой лагерь. Так случилось с Тридоном, с Лео Франкелем, с Варленом" (III, 42). Заметим, что оба названные

принадлежали к самым передовым интернационалистам. То же говорит Лефрансэ (306): „Это меньшинство слишком медленно сплотилось". „Оно установилось,—пишет Лиссагарэ (268),—как раз, когда Версаль обнаружил свои силы". Это позднее образование передовой партии меньшинства в Коммуне Артур Арну приписывает „недостатку согласия между членами, которые должны были впоследствии образовать меньшинство и которые долго действовали в одиночку", объясняя это „личным характером иных из тех, которые могли приготовить соглашение, характером слишком склонным выставлять свою личность; это были сухие индивидуальности, любившие действовать на собственную ответственность, и которым казалось, что они теряют все что. если действуют в согласии с другими" (III, 42—43). Как бы то ни было, но *партия* с определенною программою действия образовалась в среде этих передовых людей Коммуны „лишь в последние дни Коммуны и получила официальное существование лишь по поводу вотировки о *Комитете общественного спасения*" (II, 91), т.-е. 30 апреля, да и тут еще ни имени Франкеля, ни имени Арнольда не было в числе воздержавшихся, и они встречаются лишь в манифесте меньшинства против Комитета общественной безопасности 15 мая, т.-е. почти накануне падения Коммуны.

Итак, мы видим, что 28 марта, против сложившейся и очень определенной партии рутинеров якобинизма 1793 г., против людей, которые были отрезаны

ореолом участников в прежних революциях и страдавшие за свои убеждения, против людей, требовавших определенных мер, хотя бы не рутинной традиции, и уверенных в действительности этих мер, стояли разъединенные, друг другу почти незнакомые, друг с другом во многом несогласные, люди новых, социалистических начал, не выработавшие определенного плана действия, неуверенные в себе и потому неспособные предложить какую-нибудь систему новых мер, соответствующих новой задаче социальной революции. „То были люди,— пишет Бакунин („Общ.", № 5),—которых пылкая ревность, преданность и вера в великое дело, которому они служили, не подлежали никакому сомнению. Но именно потому, что они были преданы целиком, они сомневались в самих себе. Перед величием того дела, которому они посвятили свою душу и свою жизнь, они считали себя ничтожными". Артур Арну вернее и откровеннее других выражает это состояние духа после выборов в Коммуну (II. 59): „одно ужасало меня: это — доля ответственности в успехе или неуспехе, в жизни или смерти этого парижского народа... До тех пор, подобно всем людям поколения, выступившего в политическую жизнь при империи, я был лишь человеком оппозиции, теории. Я нападал на злоупотребления, высказывал идеи, провозглашал принципы, вел партизанскую войну против общественного зла. Теперь приходилось оставить теорию для выступления на почву фактов, из оппозиции перейти к прямому

[illegible] применять принципы, которые мы так [illegible] провозглашали. Это был новый мир для всех нас. Мы должны были бороться с практическими затруднениями... Приходилось внести в это дело твердую решимость, непоколебимую силу воли... Я [illegible], в продолжение нескольких часов [illegible] страх. Как я буду раскаиваться, если я [illegible] своей миссии!.. Я решился однако [illegible] принять выбор... Никто не имеет права пропо-ведывать революцию, указывать народу цель, чтобы затем, когда день битвы наступил, отретироваться и воздержаться под предлогом, что время дурно выбрано, обстоятельства невыгодны, поражение вероятно". К этому можно было бы только прибавить, что проповедники революции имеют прямую обязанность не только призывать к ней, указывая конечную ее цель, но и составить себе заранее определенный план, что следует делать в минуту удачной революции. — Характеристично в этом отношении положение, принятое именно Артуром Арну пред выборами. Он, один из небольшого меньшинства наиболее работавших мыслью революционных групп, он, уверовавший в социализм не по традиции, не случайным увлечением, но после долгой литературной борьбы и долгих колебаний, следовательно сознательно и с пониманием дела, выступил пред избирателями не как пособник их темною более выработанной мысли, не как советник, которому более выгодная обстановка позволила лучше видеть истинный путь и истинные задачи

рабочего социализма. Но, во имя принципа „обязательных полномочий“ (mandat impératif), отказалось даже поделиться со своими сторонниками каким-либо обдуманным планом действия, высказать какую-либо profession de foi, предложив им задавать ему вопросы и поставить ему программу. Само собою разумеется, что они не могли поставить иной программы, кроме политической (Arn. II 62). Политическая автономия Парижа, вместо Версальского собрания,—таков был единственный путь, который был ясен большинству избирателей из журнальных статей и речей в общественных собраниях, составлявших неизбежно единственное воспитательное средство для большинства. На старой политической почве, конечно, люди традиционной рутины революций чувствовали себя более ловко, чем проповедники социальной революции. Последним надо было еще искать и придумывать, что именно в политической сфере подходит и что не подходит к их программе, тогда как первые имели давно заученные ответы на все вопросы.

Приходится сознаться, что социалисты, отказавшись от немедленного решения *экономического вопроса*, т.-е. от внесения истинного начала *равенства* (по собственному сознанию их представителей) в новый, революционный строй, и в самом деле *не могли* представить со своей точки зрения ни одного рационального решения политическим вопросам минуты. Их противники были гораздо последовательнее. Они не только не противились социа

листические подозрения, не вотировали их без спора. „Никто в Коммуне, — пишет Артюр Арну (II 84), — не подумал бы восстать против необходимости социальных реформ, и все декреты социалистического характера прошли без оппозиции, вообще единогласно (ср. Liss. 270). Поэтому члены большинства были, с этой точки зрения, правоверные социализма. Только они преимущественно заботились о революционной традиции как средстве для достижения цели, и считали скорее дополнением то, что члены меньшинства находили главным делом“. В заседании 12 мая, Бильорэ, член Комитета Общественного Спасения, говорил меньшинству Коммуны: „Вы передали вашу власть Комитету, заведующему всеми действиями и оставляющему вам время заниматься очень важными социально-законодательными и социально-экономическими вопросами“ („Journal Officiel“, № 132). Но именно члены социалистического меньшинства ничем не проявили того, что, по их мнению, „экономическое равенство“ составляет главное дело, необходимое и предварительное революционное условие „политической свободы“. Они толковали об автономии общин, о свободе слова, о виде диктатуры — все вопросы *политические* — и откладывали на будущее время обсуждение рабочими общественных отношений труда к капиталу, пролетариата к собственности; они едва решались дотронуться до святыни собственности казначейства, банков, страховых обществ, а тем менее — до святыни собственности частных людей, ограничи-

вать в этой области самыми осторожными полумерами. Журд говорил в заседании 2 мая: „Для спасения нашей Коммуны я требовал, чтобы мне позволили успокоить кредит, достигнуть восстановления монетного обращения". Он собирался делать „вполне обеспеченные займы", утверждал, что для Коммуны „чрезвычайно важно оберегать" французский банк, даже „помогать ему" („Journ. Off.", № 124). Правда, были все-таки попытки покруче отнестись к делу, но самые ярые якобинцы не мечтали о чем-либо подобном реквизиции Сен-Жюста в Страсбурге 1793 года. Несколько резких предложений было сделано: Жоаннар предлагал 28 апреля конфисковать собственность железнодорожных компаний; другой член хотел наложения военной контрибуции на всех парижских лавочников, оставивших город; в „Официальном журнале" 21 мая появилась, по всеобщему удивлению, заметка, что все записи ренты и большая долговая книга будут сожжены в 48 часов, и хотя это вызвало всеобщее негодование, однако, Паскаль Груссе потребовал вслед затем принятия мер для сожжения всех денежных обязательств, принадлежавших версальцам в день вступления их в Париж (через несколько часов собрание должно было узнать, что это вступление уже совершилось) (№ 119, 139, 142). Но, в сущности, ни один камень экономического строя, враждебного пролетариату, не был сдвинут с места представителями его революции. „Все серьезные учреждения,—пишет [illegible] (212),—

начали с того, что захватили главный нерв врага — кассу. Одна Коммуна отказалась сделать это. Ее совет сохранил бюджет вероисповеданий, который зависел от Версаля, и преклонился с благоговением пред бюджетом буржуазии, который был у него в руках".

Из этого как бы следует заключить, что члены меньшинства видели „главное" не в *экономических мерах*. — В чем же? — Лефрансе и Артюр Арну утверждают, насколько можно видеть из их трудов, что это „главное" было отрицание диктатуры, отрицание государственного начала, следовательно — принцип политической свободы в самом широком смысле. Но сами французские теоретики социализма, накануне революции 18 марта, доказывали совершенно основательно, что „свобода политическая" без социального (т. е. экономического) равенства есть „худшее из бедствий", значит, что ее можно проводить только при условии предварительного установления этого равенства. В грозную минуту Коммуны отрицание диктатуры и государственности было недостаточно. Вопрос был не в том: чего *не следует* делать? а в том, что *должно* сделать? И в этом отношении недостаток продуманного заранее плана ставил социалистическое меньшинство в самые невыгодные условия борьбы с его противниками. В этом сознается сам Артюр Арну. „Я до сих пор думаю, что мы были правы, отказываясь от некоторых мер, которые мы считали недействительными, и сто раз более опасными для

Коммуны, чем для ее противников. Но меньшинство—или, по крайней мере, те, которые могли сделать это—было очень виновно в том, что не предложило других средств, столь же энергичных, приспособленных к особенным обстоятельствам. Критика меньшинства была верна, возражения его опирались на точные факты. Его инициатива была недостаточна. Меньшинство было право, оставаясь на почве учений... Оно было право, желая, чтобы революция 18 марта сохранила свой характер народный, социалистический, общинный, автономный, федералистический. Но большинство не было неправо, когда оно говорило: мы окружены опасностями со всех сторон, мы летим к катастрофе. Нужно средство отклонить ее; надо испугать, остановить, оттеснить наших противников. — Существовало ли подобное средство? Может быть. Во всяком случае оно не было там, где его искали до последней минуты". Можно прибавить, что, во всяком случае, его не видели, его не предложили ни Коммуне, ни парижскому народу представители социалистических идей.

Лиссагарэ обвиняет их (268) в том, что они, самые развитые и трудолюбивые члены Совета, никогда не могли приладиться к условиям положения. Они никогда не могли понять, что Коммуна была баррикада, а не правление... Иные выставляли свои принципы, как голову Медузы, и не соглашались ни на какие уступки, даже для победы... Даже в изгнании они верили что Коммуна погибла вследствие своих авторитарных стремлений. Вместо

того, чтобы приложить свой ум к заботам большинства, вместо того, чтобы войти в борьбу с обстоятельствами и со слабостями товарищей, они уединялись в своей доктринерной автономии и не сделали ничего, чтобы завладеть руководством дела". Это обвинение едва ли можно признать справедливым. Никогда передовая партия не торжествовала, входя в сделки относительно своих принципов, без которых самое ее торжество не имеет смысла. Но дело именно в том, что социалистическому меньшинству Коммуны нужно было вовсе не поступаться принципами, но лишь проводить их как можно решительнее и последовательнее. Программа экономического переворота, по своей ширине и глубине, по резкости своих требований, заставила бы побледнеть пред собою самую „ужасную" программу традиционного якобинизма, но в ней „автономия" могла составить лишь элемент и могла иметь смысл лишь как элемент. Поставив же программу экономического переворота, социалисты, для ее осуществления, фатально были бы выдвинуты пролетариатом в руководители дела, так как они одни понимали экономический вопрос, а их товарищи в этом отношении им охотно уступали. Конечно, неожиданное наступление революционного движения застало социально-революционную партию неприготовленною, неорганизованною, состоящею из единиц, действующих каждая „по своему темпераменту", и, кроме того, из единиц неуверенных в себе, смущенных ответственностью, на них свалившеюся. Но именно

в этом-то и была социалистов [illegible], цена, превосходящая цену их противников. Авторитаристы не видели и не могли видеть ничего дальше своей традиции 1793 года; они добросовестно прилагали к делу свои убеждения. Социалисты видели дальше и яснее общественную задачу XIX века. Они видели, как империя клонится к упадку, как приближается час революции. Они знали, что эта революция будет действительна лишь тогда, когда она, не входя ни в какую сделку с противниками, потребует прежде всего экономического переворота. Но они *не приготовились*. Когда же минута настала, они *не решились* поставить своего основного требования, немедленного экономического переворота, выводя из этого требования все остальные. Они стали вести борьбу на частной почве вопроса политического, вопроса об автономии, и, в конце, не только не отстояли нового строя против его противников, но и оказались беспомощными перед традицией якобинизма. — Артюр Арну как будто видит эту ошибку, говоря в своем историческом труде (II, 160), что „Коммуну с правительственной точки зрения могли спасти“ рядом с „хорошей, внутренней администрацией“ еще „широкие социальные реформы, которые перевели бы в первый раз в область фактов удивительную и радикальную программу революции нового времени, революции, которая должна взять общество в его основах, поразить его в живых элементах: капитале, привилегиях, магистратуре, полиции, войске, духовенстве.

финансах, общественном обучении. Это было больше
но и было *можно сделать*". Тем не менее, в
этой широкой программе не видно еще самого важ-
ного сознания, что *экономический* вопрос господ-
ствует над всеми другими социальными вопросами
в наше время, и что *экономический* переворот
должен служить основою всей программы.—Вермо-
рель как будто угадал требование революции про-
летариата еще во время самой борьбы. По край-
ней мере, в № 2 своего журнала „Друг народа"
(„L'ami du Peuple"), от 24 апреля 1871 г., он го-
ворит, между прочим: „Надо разрушить до основа-
ния старое правительственное здание и воссоздать
его по новому плану на основаниях справедливости
и науки... Мы должны господствовать над нашими
врагами нравственною силою... Не следует прика-
саться к свободе и к жизни личностей... Но надо
их поставить в невозможность вредить, лишить их
силы, принудить их к справедливости, принудить
к труду... Надо принять понудительные меры, сообраз-
ные строгой справедливости, чтобы передать в руки
работников богатства, остающиеся непроизводитель-
ными или получающие гибельное употребление вместо
того, чтобы быть приложенными к общему улучше-
нию общественного благосостояния. В правильно
устроенном государстве всякий труд должен полу-
чать справедливое вознаграждение. Вознагражден
должен быть только труд... а те, которые не тру-
дятся, не имеют права жить, не имеют по крайней
мере права участвовать в общественной жизни..

Эти принципы составляют самое существование Коммуны. Она принуждена к ним вернуться или она убьет сама себя". Верморель обещал „завтра" указать „некоторые из этих великих революционных мер, которые одни способны спасти нас, высвободив нас из колеи прошедшего, выказав в действительности торжество народа над его врагами и передав в его руки в самом деле его политические и социальные завоевания 18 марта". Но следующий номер „Ami du Peuple" вышел лишь 28 апреля, и в нем Верморель передал друзьям руководство журналом, советуя им поддерживать особенно „высший принцип политического и социального возрождения", но об изложении, развитии и тем менее приложении „великих революционных мер" не было больше и речи. В конце апреля оно, повидимому, было уже и слишком поздно обращаться к ним.

Итак, не было осуществлено *ни одно* условие для решительного переворота, который поставил бы революцию, совершенную пролетариатом, на почву социальной революции. „Экономическое равенство", необходимое условие социалистического переворота, оставалось одною из задач будущего, и люди Коммуны были поставлены пред „политическими вопросами свободы" в таком же смутном и ненаучном виде, как все предшествующие революционеры. Люди замечательного ума, неутомимой энергии, искренно самоотверженные, но без всякой организации, с самыми разнообразными программами, а частью рутинеры революционных форм 1793 года

были поставлены в условия самые серьезные, которые когда-либо существовали для народов, самые невыгодные, которые когда-либо имели перед собою люди" (Arm. II, 59). При этом нельзя удивляться ни тем ошибкам, которые имели место, ни тем гибельным результатам, которые получились из каждой [illegible] ошибки. Но должно удивляться, что Коммуна могла продержаться 72 дня и могла оставить после своей гибели пролетариату мира то великое завещание, которое сделало из 18 марта торжественный день социалистов всех стран.

Как только Коммуна оставила с первого же дня в стороне экономический вопрос, пред нею стали неразрешимые политические вопросы: прежде всего вопрос об отношении восставшего Парижа к Франции, а вместе с тем об отношении только-что совершившегося революционного движения к законности, пред тем существовавшей в стране. С точки зрения социально-революционной эти вопросы не возникали вовсе. Старый мир территориальных государств, как их установили старые договоры феодальных и буржуазных правительств, никогда не спрашивавших мнения народов, не имел никакой обязательности для федераций освобожденного пролетариата. Федерированные рабочие городов и сельских общин могли составить новое „народное государство" в пределах прежней территории: или могли образовать несколько союзов с слабым государственным элементом, с разнообразными территориями, которые там или здесь переходили бы границы Франции в

ту или другую сторону, или могли явиться в форме автономных общин и местных групп, чуждых обособленных территориальных связей. Если рабочие имели в своих руках естественные и промышленные орудия труда, то при всех этих политических комбинациях вопрос социальной революции был бы решен; выбор той или другой политической комбинации зависел бы от того, которая из них способствовала бы, при данных местных условиях, лучше других решению вопроса социальной революции, и, без вреда основному делу, эти комбинации могли быть впоследствии заменены одна другою, если бы это оказалось выгоднейшим. Париж, Франция — при социальной революции оставались лишь географическими терминами; но их политическое значение теряло сразу всякую историческую обязательность, весь прежний исторический смысл, так как прежде шло дело о группах, связанных господством закона при различии сословий, при громадном экономическом неравенстве, при труде одних, который должен был питать и трудящихся, и праздных паразитов, а социальная революция, совершившись, имела бы пред собою лишь односословное общество трудящихся при полном экономическом равенстве.

Вместе с тем переставала существовать и вся прежняя законность. Совершившаяся революция устраняла ее в ее основах, так как малейший остаток старой законности отрицал бы новое бессословное, экономически-равное общество рабочих. Социальная революция должна была создать *новые*

формы договорных или законодательных отношений в сфере трудящегося пролетариата, на основании *новых* экономических условий жизни, но весь прежний закон, обеспечивающий экономическое неравенство и возможность для одних жить трудом других, сам собою прекращал свое действие.

Но экономический переворот не стоял даже задачею данной минуты в самых смелых умах членов Коммуны, и приходилось браться прямо за решение вопроса об отношении восставшего Парижа к Франции, об отношении революции 18 марта к общефранцузскому закону. Основным понятием для решения этого вопроса служило понятие о *коммуне*, и здесь революционеры имели пред собою, повидимому, довольно прочную почву. Общинная жизнь имела за собою длинную и блестящую историю. Но это было очень давно для Франции. Деревенские общины не сохранили никакой традиции своего единства и были в 70-х годах во Франции лишь административным термином. Право самоуправления городских коммун восходило к средневековой традиции и потому, как имевшее за собою прежнюю рутину, было и наиболее доступно большинству парижан, как политическое понятие. К этому для Парижа присоединялось еще недавнее воспоминание о роли парижской Коммуны в первую революцию. Однако, вся история последующего времени, история монархии и республики, а особенно только что пережитый период войны против Германии, вызывали и укрепляли патриотические идеи, вызывали и укрепляли вместе

с тем представление о единстве Франции. Легальность последнего периода перенесла большинство законодательных и административных функций на органы государственного единства. Правда, революция конца XVIII века освятила законом право народного восстания, даже в „части“ населения, но практика Конвента была на стороне энергического подавления местного сепаратизма. Поэтому вопрос о легальных правах Парижа, как политического целого, в виду Франции, как политического целого более обширного, представленного выбранным версальским собранием, невозможно было решить на основании исторических прецедентов. Попробовали решить его революционно, т. е. выставить новую политическую программу автономии общин, как опирающихся на демократическое начало всеобщей подачи голосов, и поддержать эту программу силою.

С виду программа была проста, но она предполагала общественный строй, условия которого совсем не существовали. Средневековая политическая община была не только сожительством лиц в одной местности, она представляла, при разнообразии сословий, при неравенстве прав граждан, общие городские интересы, которые преобладали над противоположением интересов внутри города; она представляла нравственное единство политических стремлений, политических убеждений для всех классов граждан в виду внешнего врага, одинаково опасного всем. В XIX веке общность коммунальных интересов совершенно исчезала пред возраставшим

внутренней борьбы классов Община, как единое нравственное целое, вовсе *не существовали*. В каждой общине стояли один против другого непримиримые лагери пролетариата и крупной буржуазии, с усложнением борьбы, вследствие присутствия самых разнообразных групп мелкой буржуазии. На минуту Париж был объединен общим *аффектом* — раздражением против Бордоского и Версальского собрания, но временный эффект не может быть основою политического строя. Новые объединенные группы могли образоваться лишь *по совершении* экономической революции; *после* экономического торжества пролетариата.

Тем не менее, программа была выставлена с первой же минуты. При провозглашении Коммуны старик Бэлэ, первый французский буржуа, приступивший к Интернационалу, произнес речь, где говорил (Lanj. Corr., 150): „Освобождение Парижской Коммуны есть освобождение всех коммун республики... Республика укрепится в нашей среде путем полной свободы Коммуны. Республика теперь не то, чем она была в великие дни нашей революции. Республика 1793-го года была солдатом, которому, чтобы сражаться вне страны и внутри ее, было необходимо централизовать в своих руках все силы отечества; республика 1871 г. есть работник, который нуждается преимущественно в свободе, чтобы сделать мир плодотворным... Всякая группа придет к полной независимости и к полной свободе действий. Коммуна будет заниматься вопросами местными

департамент — вопросами края (de ce qui est regional), правительство — вопросами национальности... Коммуна, которую мы основали, будет модельною коммуною... Не будем выходить из пределов этой программы». Позитивисты Ланжалле и Коррьез в своем очень дельном труде выражают сочувствие этой програме, и со схоластическим педантизмом отмечают все отступления от нее, соболезнуя о них. Но подобная програма была неосуществима именно потому, что революция 18 марта была революциею, *совершенною пролетариатом* в сознательном противоположении его интересов интересам господствующих классов. Это было подтверждено и присутствием членов Интернационала среди руководителей революционного движения, тогда как вопрос о правах парижской *политической коммуны* не имел никакого значения для Интернационала. Этот характер революции 18 марта уже обозначился и выходом всех часто-буржуазных членов из Совета Коммуны. В сущности, дело шло об отстаивании самоуправляющихся *общин рабочих*, а не политических *общин вообще*, и эти общины имели в виду присвоить себе насколько можно более прав, которые прежде принадлежали краю или нации. Только эти задачи, как слишком новые, никто из социалистического меньшинства Коммуны не решился прямо написать на знамени, а никто из традиционного якобинского большинства о них не думал, и они вырабатывались самим положением, при чем действительные, но не

наступающие ясно тенденции постоянно сталкивались и перепутывались с программою чисто политической общины.

Объявляя себя элементом более широкого целого, „нации“ с ее „правительством“, Коммуна действовала в тоже время как самоустраивающееся политическое целое и создала 10 комиссий, со всеми государственными функциями (там же, 158 и след.), назначала деканов в факультеты университета (161). Из двух проектов обращений Коммуны к народу парижскому (Lefr. 196; Lanj. Corr., 165) был принят тот, где Коммуна ставила наиболее скромные частные задачи. Но в то же время Коммуна отменяла общегосударственный закон о конскрипции, называла свой официальный журнал „Официальным журналом французской республики“, принимала меры относительно Государственного Банка, относительно общественных страховых обществ, провозглашала (3 апреля) отделение церкви от государства и отмену бюджета вероисповеданий, входила в сношения с иностранными посольствами (5 апреля) и т. п. „Официальный журнал“ принимал в этом вопросе довольно неопределенное положение. „На Париже,— говорил он 22 марта,—лежит обязанность заставить уважать суверенность народа и требовать, чтобы права его не были нарушены... Париж не может ни отделиться от провинции, ни допустить, чтобы ее оторвали от него. Париж был, есть и должен обязательно остаться столицею Франции, головою и сердцем единой и нераздельной демократической

республики". Через несколько дней, перейдя под руководство интернационалиста Лонгэ, этот журнал говорил (1 апреля), что „люди 18 марта боролись и победили... для того, чтобы завоевать и обеспечить на будущее время независимость всех общин Франции, а также высших групп: кантонов, департаментов или провинций, связанных между собою, в виду их общих интересов, национальным договором... Париж не отказался от своей роли инициатора, он не отрекся от этой нравственной власти, от этого умственного влияния... Освобожденный, автономный Париж должен все-таки остаться центром экономического и промышленного движения, местопребыванием банка, железнодорожных учреждений, великих национальных институтов". И позже (3 апр.): „Коммуна не забудет, что она создана не для управления Францией, но для ее освобождения, приглашая ее принять инициативу этого освобождения и подавая ей в этом пример". Обращаясь к Франции, 6 апреля, исполнительная комиссия говорила (Lan Corr., 228): „Париж желает только основания республики и завоевания себе своей коммунальной свободы, счастливый тем, что послужит примером для прочих коммун Франции... Парижская Коммуна сожалеет, что должна была выйти из своих нормальных обязанностей и сделала это лишь, чтобы отвечать на военное положение, вызванное версальским правительством. Париж желает лишь вернуться в пределы своей автономии, проникнутый уважением к равным правам прочих коммун Франции

Мы представляем общее благополучие, осуществленное общими силами, свободу для всех и для каждого, под руководством добровольной и плодотворной солидарности". Чрез 2 недели, 19 апреля, на стенах Парижа можно было прочесть „Прокламацию к французскому народу" уже более определенного характера, но все-таки смешивавшую задачу разносословной политической коммуны и социалистической коммуны трудящихся, осуществивших экономическое равенство (там же, 310 и сл.). В ней говорилось, что Париж „приготовляет для всей Франции умственное, нравственное, административное и экономическое возрождение". Его требования определялись так: „Признание и утверждение республики... Безусловная автономия общин, распространенная на все местности Франции и обеспечивающая каждой из них всю полноту ее прав и всякому французу полную деятельность его сил и способностей, как человеку, гражданину и рабочему. Автономия общин будет ограничена лишь равным правом автономии всех прочих общин, приступивших к договору, и ассоциация которых обеспечит единство Франции". В числе обычных „прав, присущих общине", приводилась „безусловная гарантия личной свободы, свободы совести и свободы труда", а также „организация защиты города и национальной гвардии, которая выбирает своих начальников и одна наблюдает за охранением порядка в городе". Далее говорилось: „Париж не хочет ничего более относительно местных гарантий, при условии, конечно, что

великая центральная администрация, составленная из делегатов федерированных коммун, будет реализировать и практиковать те же начала. Но, во имя своей автономии и пользуясь своей свободою действия, Париж предоставляет себе осуществить, как он найдет лучшим в своей среде, административные и экономические реформы, которых требует его население, создать учреждения для развития и расширения образования, производительности, обмена и кредита, для универсализации власти и собственности, сообразно требованиям времени, желаниям участников дела и данным, доставленным опытом". Авторы опровергали обвинение Парижа в том, будто он хочет „навязать свою волю или свое господство остальной нации и претендует на диктатуру", или что он хочет разрушить „единство Франции, созданное революцией". Революция коммун,—говорилось далее,—начатая народною инициативою 18 марта, осуществляет новую эру опытной, положительной, научной политики. Это—конец старого мира, правительственного и клерикального, конец милитаризма, чиновничества, эксплоатации, ажиотажа, монополии, привилегий".

Сама по себе идея *политической* Коммуны Парижа была настолько независима от основного мотива борьбы 18 марта, от революции, совершенной пролетариатом в пользу пролетариата, что мы встречаем эту идею во многих примирительных проектах этого времени, выставленных группами чисто-буржуазными. Да и не было причины при сохранении

прежних экономических основ общественного строя, почему в Париже — автономной коммуне французской федерации, или даже в Париже — самостоятельной республике, буржуазия потеряла бы возможность эксплоатировать рабочий класс в свою пользу, следовательно, потеряла бы свое прежнее положение господствующего класса. И вот мы видим, что еще 31 марта Порталис в журнале „Vérité" настаивает на необходимости автономии Коммуны. В начале апреля образуется „Лига республиканского союза прав Парижа" (в ней участвовали, между прочим, Локруа, Клемансо, Моттю), которая обещала даже, что, в случае упорства версальского правительства, „весь Париж поднимется"; появляется манифест разных позитивистов, свободных мыслителей и литераторов (участвовали, между прочим, Олимюс, Летурно, Кудрю, Гюйо), появляются и другие манифесты подобного рода: фурьерист Консидеран, прудонист Лонгэ, журнал Рошфора (Mot d'Ordre), предлагают программы примирения (Mal. 232 и сл.). Более или менее определенная общинная независимость Парижа встречается во всех этих программах. Масоны делают крупную демонстрацию в пользу прекращения военных действий. Все эти попытки действовали деморализующим образом на население Парижа, снова и снова питая в нем надежду на мирное окончание столкновения, которое противники Парижа решились окончить кровавою расправою во что бы то ни стало, а потому эти попытки ослабляли энергию собственно военных мер в Париже. Они действовали

еще более деморализующим образом в том отношении, что затемняли в глазах восставшего и на минуту победоносного пролетариата ту грозную истину, что для него *всякое* примирение, *всякая* сделка с буржуазным порядком невозможна, что среди буржуазии у него могут быть *только* враги, так что всякое соглашение с ними будет всегда или обманом с их стороны, или уступкою с его стороны его основных требований. Но желание примирения и недостаток ясного понимания были в этом отношении так значительны, что даже „Journal Officiel“, находившийся под руководством интернационалиста Лонге, помещал ряд руководящих статей, где, между прочим, говорилось (30 марта): „Печальное недоразумение, которое в июньские дни вооружило друг против друга два общественные класса, оба заинтересованные, хотя и не в равной степени, в великих экономических реформах, эта гибельная ошибка, которая сделала июньское подавление столь кровавым, не могла уже возобновиться... Сословный антагонизм перестал существовать (!), единственным поводом к борьбе является старая война... свободы против власти, права муниципалитетов и граждан против поглощения всех прав правительственным произволом. Париж... был готов весь встать, чтобы завоевать свою независимость, свою автономию“. Или (3 апреля): „Теперь всякий раздор сгладится, потому что все солидарны (!), потому что никогда не было так мало социальной ненависти, социального антагонизма“. И в одном из наиболее серьез-

ных журналов этой эпохи, в „La Commune“ (где работал Миллер вместе с прудонистом Дюпэйем) находим подобные же выражения. „Особенно не забудьте,—пишет 28 марта Одилон Делималь (№ 9),—что население такого города, как Париж, состоит из различных элементов: будьте справедливы ко всем классам общества: охраняйте все интересы“. На другой день Бриссак печатал статью, где самым пестрым образом смешивались идеи о разных элементах движения. „Парижская Коммуна,—писал он (№ 10),—имеет право и обязанность итти новым путем... Теперь государство налагает цепи на Коммуну, как капитал на труд, тогда как Коммуна и труд должны управляться собственными законами, насколько последние не нарушают необходимой ассоциации. Франция должна быть едина и нераздельна; да, но только в ее политическом строе. Должен существовать союз между капиталистом и работником: да, но без того, чтобы первый имел львиную долю в барышах“. И в тысяче форм высказывается в журнале положение, что смысл революции 18 марта есть „борьба между личностью и властью, между автономией группы и центральным правительством“ (№ 12). Подобная проповедь нисколько не обезоруживала врагов пролетариата, отлично понимавших, чем грозит им его торжество, отнимала у пролетариата энергию борьбы и ослепляла его как бы нарочно в виду непримиримых врагов.

Как ни старались, впрочем, политические руководители разграничить в действиях восставшего Пари-

за „вопросы общинные“ от „вопросов национальных“, фактическое течение событий заставляло инсургентов принимать на себя все функции воюющего государства, но недостаток определенной заранее программы социалистической партии помешал Коммуне выступить откровенно тем, чем она была на самом деле и, что одно оправдывало исторически ее восстание — мешало ей выступать, как *мятежный пролетариат*, сознательно решивший ниспровергнуть экономическое господство буржуазии. — Многие ошибки Коммуны были следствием и другой неясности, связанной с первой, неясности того, насколько глубоко-революционно было движение Коммуны, и как мало могла она в своих действиях искать опоры в старых формах легальности. Одним из поразительных примеров в этом отношении могли служить дополнительные выборы в Коммуну, имевшие место 16 апреля. Первые выборы, 26 марта, совершались еще Центральным Комитетом, когда существовала еще иллюзия возможности мирного, легального решения вопроса об управлении восставшим Парижем путем сделки. Выборы совершались при содействии (хотя и неискреннем) старых мэров и депутатов Парижа; военные действия еще не начинались, и большинство „города иллюзий“, по словам Артюра Арну, надеялось на соглашение с Версалем. Революция 18 марта еще настолько не выяснилась, как революция пролетариата, что повсюду были выставлены кандидаты консервативные, либеральные, гамбеттисты, прудонисты, и прошел 21 по-

добный кандидат. Тогда выборы в Коммуну всеми парижанами, желавшими войти в мирную сделку, имели еще некоторый внешний смысл. Но 16 апреля положение совсем изменилось. Весь элемент сторонников старого порядка вышел из Совета Коммуны и тем признал ее фактически движением пролетариата, революцией, не допускавшей сделок. Отчаянная битва началась. Около Парижа и в Версали расстреливали пленных коммунаров. Центральный Комитет, в своей прокламации 5 апреля, провозгласил (Lan, Corr. 214): „Не заблуждайтесь, работники: это — великая борьба: борются между собою паразитизм и труд, эксплоатация и производительность“. Прежняя легальность еще существовала лишь в воображении нескольких казуистов“. Голосование не было уже вопросом минуты, пишет Артюр Арну (III, 9 и сл.). — Положение стало настолько трагическим, что не было ни необходимого досуга, ни необходимого хладнокровия для того, чтобы вообще голосование могло делать свое дело... Все люди, преданные Коммуне, были на укреплениях, в фортах, в передовых отрядах... Народ не придавал нисколько значения этим дополнительным выборам... Выборы были, в сущности, лишь парламентаризм. Надо было не считать избирателей, а иметь солдат: не узнавать, потеряли ли мы или выиграли в мнении Парижа, но защищать Париж от версальцев“. „В этой ратуше, бывшей вне закона, — пишет Лиссагарэ (229), — были люди, помешанные на легализме. Парижу приходилось душить самого себя их спаситель-

ными принципами. Перед тем, во имя коммунальной автономии, которая не позволяет вмешиваться в автономию соседа, исполнительная комиссия отказала в оружии пригородным коммунам, которые хотели идти на Версаль". Дополнительные выборы дали столь печальные, деморализующие результаты. „Как было легко предвидеть,—пишет Артур Арну (III, 10),—число подавших голоса было крайне мало, и Коммуна не только не укрепилась, обращаясь ко всеобщему голосованию, но, как могло казаться, потеряла три четверти своей популярности первых дней". Затем все таки пришлось выйти из легальности, признать избранными лиц, не имевших на это достаточного числа голосов. Это вызвало отказ некоторых избранных (между прочим, Рожера, автора знаменитых „Propos de Labiénus"), „вызвало раздор в среде Коммуны, настолько громкий и настолько перешедший в прессу, что публика впервые узнала, что происходит внутри Совета, узнала борьбу его микроскопических котерий, вызванных часто личными привязанностями и антипатиями" (Liss 232).

Впрочем, эта борьба внутри Совета Коммуны, продолжавшаяся во время всего ее существования и содействовавшая не менее версальских войск разложению нового строя, коренилась не только в тех личных озлоблениях и в тех маленьких котериях, на которые так негодует Лиссагарэ. Тут сталкивались опять два указанные выше течения: течение рабочего социализма, который еще не выработал себе определенной политической программы

не представляла прежней партии в целом, но она охватывала в странной связи все слои современного общества, и течение традиционного якобинизма, который, в сущности, не имел ничего против социалистических решений, но не чувствовал к ним особенного интереса и старался лишь повторить прославленные приемы эпохи Конвента. Для внутренней жизни парижской Коммуны яблоком раздора являлся особенно вопрос о власти и ее пределах. Он представлял ряд затруднений. В Париже было множество элементов, враждебных Коммуне, и все богатое население принадлежало к этим элементам. Насколько принципиальное установление 18 марта начала самой широкой свободы можно было примирить с необходимостью сдерживать и подавлять эти элементы, которые, при предоставлении им полной свободы, могли принести Коммуне весьма значительный вред по своему материальному влиянию? Был ли Совет Коммуны „диктатурою", вызванною революцией, которая поручила своим избранникам осуществить задачу господства пролетариата, или это были лишь исполнители народной воли, которые должны были каждую минуту приспособляться к изменчивым проявлениям воли избирателей, к числу которых фактически принадлежали все разнообразные элементы парижского населения? Какое отношение имели избранники парижского населения к избранникам парижской национальной гвардии, которые еще теперь были властителями и продолжали опираться на существующую военную организацию?

Насколько внутри Совета Коммуны большинство могло не обращать внимания на мнения меньшинства. Могло дозволять этому меньшинству противодействие" и т. п.

Опять-таки, с чисто социалистической точки зрения, вопрос этот трудности не представлял. Если бы социальная революция совершилась, „экономическое равенство" установилось, и весь материал общественной силы находился бы в руках победоносного пролетариата и его выборных, то самая широкая личная свобода не могла бы быть ни сколько вредна Коммуне. Лишенные личных денежных средств и материального влияния, враги пролетариата, составляя едва заметное меньшинство, едва ли были бы в состоянии собрать около себя убежденные, само отверженные группы приверженцев для своих демонстраций, газет, брошюр, сношений с врагами города. Если бы революция, признав себя откровенно революцией *пролетариата*, немедленно организовалась в общину рабочего класса, принимая в ее среду лишь тех, которые вступили бы под знамя социальной революции, и решительно устраняя из своей среды все элементы, враждебные рабочему пролетариату, то был бы устранен всякий вопрос о разделе между военною и гражданскою властью, были бы устранены и все претензии врагов рабочей Коммуны на равноправность, как граждан разносословного Парижа. Если бы Коммуна была не результат выборов, произведенных случайными жителями традиционного феодально-буржуазного города, состоя-

щего из [illegible] элементов, но состоящий из представителей рабочего класса, решающегося разбить господствующие классы, поставивший эту первую задачею выборной и подчинивший все прочие задачи организации этой основной задаче борьбы труда с капиталом, то не имел бы место спор о диктатуре Совета Коммуны или об обязательном подчинении, которое они должны были исполнить. Миллер был совершенно прав в том, что всякая революция есть „диктатура", т. е. именно потому, что она есть революция, представляет отрицание старой легальности и поддержание силою новой общественной программы. Но чем многочисленнее класс, совершающий сознательно революцию и захватывающий, таким образом, диктатуру, и чем теснее с этим многочисленным классом нравственно, умственно и материально связаны те выборные из его среды лица, которые осуществляют на деле эту диктатуру, тем более теряет свое значение принудительность, связанная с этим понятием. Немногие диктаторы, которые, поставленные случайно у конца государственного рычага, навязывают механическою силою свои личные фантазии несочувствующему, непонимающему и инертному большинству, суть отвратительные представители принудительной государственности и могут сделать только зло, как бы, впрочем, ни были направлены к общему благу их намерения. Если же революционный взрыв выдвинул во главу движения людей, выработанных в среде рабочих обществ, находящихся в отношении

вления в полной зависимости от рабочих групп и не имеющих возможности противоставить свой произвол мнению обширной организованной рабочей партии, то эти личности сами-по-себе ничего не значат и не могут; они имеют значение лишь как выразители мнений партии, их выдвинувшей, и настолько, насколько они ее представляют: они *неизбежно* становятся исполнителями ее програмы, делегатами с „обязательным полномочием". Они могут представить партии програму действий при новых обстоятельствах: они даже обязаны сделать это, если случайно выгодная обстановка дозволила им глубже и полнее обдумать и изучать вопросы, которыми большинство достаточно заниматься не могло; но все-таки они будут в состоянии осуществлять эту програму не как *свой* личный план, а как програму *партии*, формулирующую ее более или менее ясно выработанные требования. Принудительность их власти *относительно их сторонников* не может иметь места и в этом отношении,—это собственно не диктаторы, но делегаты. Но диктатура принадлежит победившему большинству относительно побежденных врагов революции. Вся законность, ограждавшая их привилегии, обращена в ничто революционною диктатурою и лишь во имя *новых* революционных принципов, ввиду выгод *нового* революционного строя, возникают для побежденных новые права путем ли договора или путем законодательства. Чтобы новое общество могло существовать, бороться с внешними врагами и развиваться в в

проведения своих принципов, оно должно так или иначе обезпечить себя относительно тех, которые, живя в той же местности, были и остались врагами его принципов. Привычки нового времени не допускают в наших, считающих себя передовыми, ни обезглавления всех врагов, ни заключения и выселения массами. Остаются различные формы принуждения, надзора и других тому подобных проявлений власти. Таким образом, на другой день после победоносной революции, неизбежно образуется потребность принудительных отношений к враждебному элементу, необходимость диктаториальных отношений к врагам нового строя, тогда как внутри нового строя принудительный элемент тем менее будет присутствовать, чем лучше была заранее организована и выработана победившая партия, чем теснее ее материальная, умственная и нравственная связь с делегатами ее, поставленными обстоятельствами во главе движения. Но и принудительность в отношении враждебных элементов может быть доведена до минимума, если все материальные общественные силы перешли в руки победившей партии, если она составляет громадное большинство населения, и если враги нового строя, оставшиеся в его среде, могут для своей деятельности располагать лишь своим личным умственным и нравственным влиянием. Но именно этот случай представила бы победоносная социальная революция, совершенная рабочим пролетариатом.

Так как экономический переворот совершен ее

было, то задача *создания* политического строя в Париже, пережившем революцию пролетариата и наполненном врагами этого пролетариата, в руках которых были *все* частные, материальные средства, предстала во всей своей неразрешимости. Париж богатых буржуа и нищих пролетариев, как разносословная политическая община, требовал во имя либеральных начал полной свободы слова, собраний, критики правительства и т. д. Париж, совершивший революцию в пользу пролетариата и поставивший своею задачею осуществить эту революцию в учреждениях, Париж, как община эмансипированного рабочего пролетариата требовал революционных, т.-е. диктаториальных мер относительно врагов нового строя. Большинство Коммуны во имя революционных традиций склонялось к последним мерам, не замечая, что все они будут совершенно бессильны, пока Париж остается разносословною политическою коммуною, где большинство материальных средств остается в руках враждебной буржуазии. Меньшинство, во имя принципов свободы и равенства, боролось против всякой диктатуры во всех ее применениях, забывая, что равенство может быть установлено только путем экономического переворота революционной диктатуры, и что о свободе честно с пользою говорить *только тогда*, когда это равенство будет установлено. Ни большинство, ни меньшинство не ставило перед собою ясно и определенно первой задачи социальной революции, без которой никакая другая задача решена

[illegible] отмены всей старой экономической [illegible] революционным путем и установление нового экономического строя. Большинство прибегало к [illegible] диктаториальным мерам. Меньшинство [illegible] себя на бессильную оппозицию.

Борьба началась с первого же дня. Если революция не была экономическою, то она, по [illegible] выражению Верморели, стала „борьбою за власть". Мы видели выше, как Центральный Комитет боролся за власть с собранием мэров и депутатов. Коммуне встретился соперник в ее предшественнике, Центральном Комитете. Случайно существовавшая в национальной гвардии организация в эпоху безначалия Парижа позволила Центральному Комитету разыграть историческую революционную роль. Он поторопился сложить с себя ответственность на выборный Совет Коммуны, но фактически он оставался единственною организациею, следовательно — единственною силою. Распустить его было бы ослаблением нового общественного строя [1], но поглотить его в более разносторонней организации рабочего класса для всего Парижа и связать эту организацию с Советом Ком-

[1] [illegible] Совет Коммуны [illegible] Центральный Комитет [illegible] Парижа [illegible] организацией [illegible] и теснее связанною с [illegible]

муны было насущною задачею этого строя. „Чтобы эта общественная сила, — пишет Лефрансэ (198), — не могла сделаться орудием честолюбцев, достигших власти“, необходима была „гражданская организация по кварталам, где гражданин, работник-распоряжающийся местною организацией и обсуждающий свои права и интересы, преобладал бы по влиянию над тем же работником, сделавшимся, вследствие необходимости, солдатом Коммуны“. Указание (впрочем, очень недостаточное) на проект подобной организации встречаем в первой проектированной прокламации Коммуны (ее составили Лефрансэ, Валлэс и Ранк), но она была оставлена в стороне; о гражданской организации некогда было думать, тогда как военная организация осталась в своей целости и дала фактическую возможность Центральному Комитету не без успеха соперничать с Советом Коммуны и с военною властью, ею назначенною. Его прокламация к парижанам появилась ранее, чем прокламация Коммуны после ее провозглашения. Он сохранил свое право контроля и действия на правительство. Он иногда яснее ставил социалистическую задачу революции 18 марта, чем это делала Коммуна. В заседании Совета 8 мая Журд спросил товарищей: „Как называется правительство: Центральный Комитет или Коммуна“? („Journ. Off.“ № 130). Мы видели, как Комитет боролся с Клюзерэ, с Росселем, как это двоевластие парализовало и деморализовало военные действия и содействовало с своей стороны не мало падению Коммуны. Все

это было фатальным следствием существования в обществе военной организации при отсутствии гражданской, ее исполняющей, как одну из своих функций.

Вне этого соперничества с первого же дня столкнулись в Коммуне взгляды на Совет, как на власть *над* Парижем и как на „исполнительную власть" *для* Парижа, как на делегатов Парижа, остающихся „под наблюдением народа", ограничивающихся тем, что они „формулируют стремления, волю толпы, переводят их на язык фактов" (Арн. II, 96–97). Паскаль Груссе на первом же заседании поставил Коммуне идеал [illegible] „Совета десяти". Артюр Арну противопоставил ему идеал „управления народа народом" (там же, 92). Большинство было постоянно на стороне первого направления, и под этим влиянием последовал ряд декретов при бессильном протесте меньшинства: отсюда вышли „угрожающие меры", никого не запугавшие, но бросавшие тень на знамя Коммуны, именно потому, что они были нецелесообразны; отсюда же вышел и тот полицейский порядок в Коммуне, который, не обессилив врагов, увеличивал их число опять таки по своей нецелесообразности.

Формы борьбы были сначала сомнительны. Авторитарная группа провела с первой минуты декрет о тайне заседаний, но он был отменен через две недели и в заседании 12 апреля постановлено, что отчеты о заседаниях будут печататься в официальном органе Коммуны. 7 апреля в Совете Коммуны шли прения об отмене всех … и

прайма, ограничивающих свободу прессы, собраний и ассоциаций. Голосование поднятием рук дало неопределенный результат и, вследствие позднего времени, поименное голосование отложено было на другой день. На другой день началась атака версальцев, и проект закона был взят назад. С тех пор преобладание сторонников диктатуры все росло. Их меры становились все резче, если не целесообразнее, и в последнее время Коммуны, в заседании 12 мая, Реньяр прямо говорил: „Нужна неограниченная власть тому, на ком лежит неограниченная ответственность" („Journ. Off.", № [illegible]). 3 апреля в официальном журнале Коммуны помещено было замечание газете „Paris-Journal". 5 апреля схвачены номера трех газет. Конечно, затем последовали обыкновенные явления: появление журналов под другими названиями, новые преследования и захваты и т. д. В заседании 21 апреля Амуру предлагал, на время войны, прекратить появление всех журналов, кроме официального („Journ. Off." № 113). Все это были напрасные усилия. Слишком ясно было, что в осажденном городе, во время битвы, не было ни малейшей возможности позволить существовать прессе, [illegible] неприятелю, на войска Коммуны, [illegible] *[illegible]* запрещение и преследование были так же [illegible] для правительства Коммуны, как невозможно было существование [illegible] (1792), что [illegible]

свободу слова, но под опасением *смертной казни* редактору за всякую статью, призывающую к измене. Артур Арну также сознается (II. 142): „Осажденный город не может допустить, чтобы в его среде открыто высказывали желание его падения, чтобы призывали к измене бойцов, его защищающих, чтобы неприятелю сообщали движения его войска. Таково было положение Парижа при Коммуне. В этом случае Коммуна, не трогая журналов, должна была действовать против некоторых журналистов, но как против изменников и общественных врагов, как только они переходили пределы, положенные на них фактическим осадным положением, в котором мы находились; как только они переходили от свободной критики к содействию осаждающим". Не знаю, было ли предложено что-либо подобное, но можно сказать наверное, что подобная казуистика не имела бы никакого действия, особенно потому, что правительство Коммуны состояло из людей, которые никогда не привели бы в действие такой угрозы, и что этого правительства враги *не боялись*. Поэтому, находясь на крайне шаткой принципиальной точке зрения, но при весьма серьезных, реальных обстоятельствах, пришлось Коммуне и Комитету общественного спасения, без уверенности в праве сделать это, запрещать враждебные журналы на зло принципу „свободы слова", закрывать уличные собрания на зло принципу „свободы собрания", делать обыски для отобрания оружия у враждебных национальных гвардейцев, пришлось арестовать без суда и содержать

арестованных под секретом (Arn. II, 154) пришлось даже обращаться к добрым гражданам с просьбою о тайной полиции и о доносах против тайных врагов нового строя (Lanj. Corr. 161, 171). Все это были самые возмутительные нарушения либеральных начал в Париже — свободной *политической* общине с равноправными гражданами, независимо от их убеждений. Все это было бы даже едва ли нужно в Париже общине *рабочих*, совершивших экономическую революцию, где был гражданином лишь тот, кто примыкал к новому революционному строю.

Главными деятелями здесь были Рауль Риго и Ферре (временно Курнэ). Все сторонники Коммуны согласны в осуждении деятельности полиции. Лефрансэ серьезно порицает (267 и сл.) как организацию ведомства „общей безопасности“, так и его личный состав, „граждан“, которые внесли в это дело лишь жар юности и сумели лишь компрометировать дело, которому посвятили себя самоотверженно. Вполне лишенные спокойствия, опытности и необходимого такта для исполнения этих отвратительных обязанностей... те, которые приняли их на себя, не сумели даже выполнить их так, чтобы не напоминать возмутительные представления, связанные с ними прежними должностными лицами по этой части... Вполне неспособные — к их чести — употреблять опасное и безнравственное оружие политической полиции, они лишь внушали отвращение к тем принципам, которые хотели поддержать, не умея никогда

средство предусмотреть положение и более решительными мерами помешать преступлению". Вот как смотрит Лиссагарэ на задачи революции 18 марта. „В трудных обстоятельствах, которые пришлось переживать Коммуне, пишет он (173), прежде всего была организация хорошей политической полиции. Это было дело комиссии *общей безопасности*, вся власть которой концентрировалась в руках Ферре и Риго, но это дело было им далеко не под силу. Организованной службы тут вовсе не было. Не хотели вовсе пускать в ход полицейской деятельности и арестовывали направо и налево, никогда не схватывая действительно опасных людей. Между тем, желавшим низвергнуть Коммуну путем внутреннего восстания без помехи [illegible] [illegible] по организованным [illegible] [illegible] с Парижем... А агенты Коммуны ничего не знали. Ни один из начальников не был взят... Коммуна нуждалась в этом случае в умеренной, политической, благоразумной, хотя и строгой наблюдательности, а у нее была только полицейская рутина". „В общем органы полиции, — пишет Арт. Арну (II, 162 и сл.), — они были самые крайние из тех, которые не понимали особенного характера коммуны 1871 г. и видели в ней лишь более или менее [illegible] продолжение первой революционной Коммуны. Аресты делались без разбора, почти всегда невпопад. Настоящие агенты Версаля ускользали от преследований или, наоборот, были на другой день выпущены, большею частью, неизвестно кем и как... Одним словом, [illegible] много

арестов бесполезных или неоправданных. Они были часто результатом неосторожности или усердия, рассчитанного [illegible] со стороны [illegible] прежних агентов, которых приходилось употреблять. Лиссагарэ, кроме того, напирает (247) на „малоопытность“ большинства ближайших помощников Риго и Ферре, на излишнюю товарищескую снисходительность Комиссии безопасности, на „[illegible]“ тех сведений, которые „должны были бы осветить все закоулки“. Коммуна издала несколько декретов в ограждение прав арестованных, и споры по этому поводу, особенно против заключения под [illegible] секретом, принимали [illegible] горячий в Коммуне. Риго принужден был даже подать в отставку. Но декреты не исполнялись. Люди, одаренные большим тактом и большею распорядительностью, чуждались полицейского дела, и группа Риго и Ферре осталась безусловною распорядительницею в этой области. От этой группы исходили, преимущественно, „устрашительные декреты“ Коммуны, и мы сейчас увидим, как тяжело легло на память Коммуны участие в ней этих людей в те страшные дни, когда их не сдерживало уже никакое влияние товарищей.

Много делалось в Коммуне с целью устрашения. Самое создание Комитета Общественного Спасения имело для многих его сторонников смысл террора. Он назначался для того, чтобы „рубить головы изменникам“ („Journ. Off.“ № 120), чтобы „поражать измену“ (там же, № 124). Относительно к „устрашительным декретам“ следует отнести рас-

ражение (3 апреля) об аресте имущества Тьера и его министров о разрушении дома Тьера, о разрушении Вандомской колонны, в особенности же декрет о заложниках. Этот последний декрет был от 6 апреля и постановлял, что всякий, обвиненный в сношениях с врагом, должен был быть в 24 часа отдан на суд присяжных обвинителей, приговор должен был быть произнесен в 48 часов, и всякий, признанный виновным, становился „заложником парижского народа“; за всякого расстрелянного версальцами пленного или сторонника Коммуны тройное число „заложников“ должно было быть расстрелено (Lanj. Corr. 221). Декрет этот, по словам Арт. Арну (II, 135), был вотирован единогласно, но автор сознается, что эта мера была совершенно нецелесообразна. „С точки зрения практики, в революциях опасно и неблагоразумно угрожать врагу, когда он не в наших руках“, говорит он (136) и указывает, что Тьер совершил массовые убийства без всякого декрета, что „испугать версальцев“ этот декрет не мог, между тем „Коммуна приняла на себя чувство отвращения, вызванное декретом, который... она никогда не приложила... Она нанесла удар лишь самой себе“ (136). Лефрансэ также находит, что „угроза, заключавшаяся в этом декрете и назначенная, по мысли его авторов, единственно для устрашения версальцев, была неловкостью, так как, не будучи выполнена — и это было, вообще, к счастию — она даром придавала Коммуне характер кажущейся жестокости, к которой были

совершенно неспособны почти все ее члены" (227). Насколько эти слова верны для правительства Коммуны, доказывает рассказ Арт. Арну (III, 107—109) об одном из самых „ужасных" членов Коммуны, именно о Делеклюзе, который со слезами на глазах вымаливал у раздраженного национального гвардейца жизнь пленного версальского жандарма, повторяя: „не будем подражать врагам нашим: не будем резать беззащитных пленников!". И в этом Делеклюза поддерживал, насколько помнит Арну, еще более „ужасный" член Коммуны, свирепый Феликс Пиа. Под конец существования Коммуны, в заседании 17 мая, было высказано несколько требований привести в немедленное действие декрет 6 апреля. Арестовано было 260 заложников, но все-таки декрет в действие приведен не был. Когда Коммуна падала в полном безначалии, и 24 мая три члена ее, Лефрансэ, Лонгэ и Валлэс узнали о расстрелянии нескольких заложников в тюрьме Ла-Рокэт, „наше общее первое впечатление,—пишет Лефрансэ (334),—было смесью изумления и гнева... Действие это возмущало нас точно так же, как и наших друзей и присутствовавших в мэрии [1]), как вполне варварское и недостойное тех начал справедливости, которые должны были бы руководить Коммуною до ее последнего падения". „Какая война! Какая война!" —восклицал Делеклюз, закрывая лицо

[1]) 11-го округа, куда удалились последние члены Коммуны после пожара ратуши.

руками, когда ему сообщили об этой казни (Li -
391). Приказание этой казни не вышло из послед
них заседаний Коммуны; от него до последней
своей минуты отрекался и специально в этом обви-
ненный Феррэ, признавший себя ответственным за
многие другие военные действия, которые бесспорно
влекли за собою осуждение на смерть (там же, 335).
Впрочем расстреляние Шодэ 23 марта в Сент-Пе-
лажи было делом Рауля Риго (Liss. 375). Но с
28 марта по 21 мая, во все время, пока заседал
совет Коммуны, „не пало ни одной головы: Коммуна
не пролила ни одной капли крови“ (Arn. III, 106)
„Я никогда не видел,—говорит Арт. Арну,—собрания
людей, которое имело бы такое инстинктивное или
сознательное отвращение от пролития крови, такую
непобедимую антипатию к смертной казни“. Срав-
нивая действия якобинского большинства Коммуны
с его идеалами конца XVIII века, Фэо говорит (321)
„Должно все-таки сознаться, что Коммуна далеко
отстала от Законодательного собрания, которое за-
хватило, конфисковало и пустило в продажу движи-
мость и недвижимость эмигрантов, и кажется очень
робкой в сравнении с Конвентом, который осудил
этих же эмигрантов на гражданскую смерть, на веч-
ное изгнание и привлекал их пред суды, обрекав-
шие их на казнь, если они возвращались во Фран-
цию“. Еще 26 мая, когда десятки тысяч трупов
расстрелянных инсургентов наполняли улицы Пари-
жа, член Коммуны пытался помешать расстрелянию
заложников (Liss. 414). Но в эти дни, когда вер-

сальцы вступили в Париж и все было предоставлено личной инициативе, когда не существовало ни гражданской, ни военной власти, способной делать распоряжения, тогда выступили от своего имени личности, которые убивали и поджигали без цели, без необходимости, чтобы „отвести душу“, чтобы удовлетворить расходившемуся аффекту, когда кругом была смерть, и сами палачи и поджигатели каждую минуту ждали смерти. Между ними был Риго, были другие делегаты общественной безопасности (Liss. 388). Для этих людей чувство мести заглушало все остальное и они не в состоянии были уже судить, насколько целесообразны, насколько *для их знамени* полезны их действия. А в недобросовестных рассказах о Коммуне, в легкомысленных воплях об „ужасах Коммуны“ со стороны либералов разной национальности — все эти действия отдельных экзальтированных личностей ложатся пятном на знамя Делеклюзов и Варленов [1].

Здесь, в ряде безрассудных действий полиции Коммуны и в ряде поступков отдельных лиц, не способных совладать со своим аффектом, и не рассуждавших о том, как этот аффект отзовется на знамени, которое они взялись поддерживать, мы имеем группы фактов, для которых уже нельзя искать объяснение ни в недостатке теоретической подготовки партии, ни в недостатке в ней техни-

[1]) Напомню, впрочем, что и в эти дни погибло всего 61 заложника из 260, в то самое время, как происходило избиение версальцами *десятков тысяч* жителей Парижа.

ческих знаний, как при гибельных ошибках военной техники. Здесь пред нами просто неосторожный выбор личностей, которые как Риго, Ферре и их друзья, полны энергии и самоотвержения, но совершенно неспособны исполнять дело, на которое поставлены. Каким образом представители революционной французской интеллигенции, действовавшие в совете Коммуны и в комитете общественнаго спасения, могли допустить присутствие подобных неспособностей на столь важных для Коммуны местах?

Едва ли объяснение этому не приходится искать в другом ряде фактов той „борьбы за власть", которая неизбежно характеризовала историю Коммуны, насколько она была продуктом чисто-политическаго элемента революции. Столкновение между авторитарным и антиавторитарным направлением внутри совета Коммуны влекло за собою естественное стремление более знакомой друг другу и скорее способной организоваться партии—именно якобинцев-рутинеров поместить всюду *своих* людей, независимо от их умственного и нравственного достоинства, но вследствие их личной связи со сторонниками большинства и их готовности поддерживать власть последнего. „Кто принадлежал к известной группе,—пишет Лиссагарэ (132),—того поддерживали во всех случаях, не обращая внимания на его ошибки. Даже, чтобы служить Коммуне, надо было принадлежать к тому или другому братству. Предлагали искренно свои услуги многие—испытанные демократы, умные чиновники, бежавшие из среды

государства, даже офицеры-республиканцы. Их принияли свысока иные неспособности, которые знали дело со вчерашнего дня и преданность которых не должна была пережить 20 мая. Между тем недостаток персонала и знаний становился ежедневно более тягостным". Под этим же влиянием мелочного стремления иметь везде *своих* людей партия большинства выбирала в комитет общественного спасения Бильорэ вместо предложенного Варлена (Liss. 288) и в последнюю минуту борьбы удаляла Варлена, Вермореля, Лонгэ от занимаемых ими должностей в интендантстве, в общественной безопасности, в редакции „официального журнала" (Liss. 316). Внутренняя политика Совета Коммуны и Комитета общественнаго спасения представляет поэтому такое же печальное зрелище, как и политика всякой старой политической среды, где люди борются за власть и влияние. Существенные недостатки положения не изменялись от того, что (20 апреля) исполнительная комиссия образовала нечто вроде ответственного министерства в среде коммуны (Lanj. Corr. 316—317). Их не исправило и традиционное воскрешение (1 мая) Комитета общественного спасения, который — опять-таки по традиции — собирался в свое время арестовывать и расстреливать членов меньшинства Коммуны. Им не помог и неисполнимый декрет, вводивший (2 мая) свидетельства о личности (Cartes d'identité). Внутренние интриги шли в этой революционной политической среде совершенно так же, как и во всяком другом политическом центре

власти, и избегнуть ошибок было невозможно. Пиа ругал в заседаниях Вермореля — „шпионом", Тридона—„навозом" (Liss 231) и радовался, когда ему удавалось „обойти" (rouler) меньшинство (Liss. 288; Lefr. 294). Малон называл Пиа „злым гением этой революции" и говорил ему, что его влияние губит Коммуну (Liss. 288). Напрасно Делеклюз, который под конец видел все ошибки якобинско-бланкистской котерии, уговаривал „прекратить личные раздоры", заняться лишь „спасением страны" (Liss. 296). Совет Коммуны, Комитет общественного спасения, Центральной Комитет национальной гвардии, споря за обрывки распадающейся власти, не только не могли остановить прогрессирующего разложения того фиктивного целого, которое представлял Париж—*политическая коммуна,* наполненная непримиримыми врагами, но еще ускоряли это разложение своими раздорами. Одним из болезненных явлений этого разложения был и знаменитый протест „обойденного" меньшинства против диктатуры Комитета общественного спасения, протест, который, появившись 16 мая, накануне падения Парижа, был, по сознанию самих его участников, вполне несвоевременен (Lefr. 306; Arn. III, 41; Mal. 318); дело шло уже „не о том, *чем* будет Коммуна и *какова* она будет, а о том, *будет* ли она вообще" (Arn. III, 42). Во всяком случае, высказывая протест в подобных обстоятельствах, следовало предложить какие-либо меры действия, но меньшинство, оставив почву экономического пере-

ворота с самого начала, не было в состоянии уже предложить ничего (ср. Liss. 317).

Само собой разумеется, что при подобном поглощении личностей частью обыденными заботами управления и обороны, частью мелкою борьбою за власть, жалкую роль должен был играть вопрос о сношениях с остальною Франциею, об отыскании там союзников, о вызове движения, систематически организованного против Версаля. Действительно, в этом отношении было сделано непростительно мало и еще менее для установления правильных сношений с организованными рабочими партиями Бельгии, Швейцарии, Англии, Германии. То и другое, впрочем, объясняется тем систематическим игнорированием вне-парижского мира, которое составляет характеристическую черту жителей Парижа. Мы видели выше обращения Коммуны к французскому народу, редкие, поздние и далеко неопределенные. Еще 15 мая, когда почти все было кончено, Паскаль Груссэ публиковал довольно слабый манифест „к большим городам“ (Lanj. Corr. 476). Аэростаты разбрасывали 100.000 экземпляров горячего воззвания Андре Лео к французским крестьянам (Mal. 196). Элементы агитации существовали во многих местах Франции. Можно было сделать многое, при знании местности и при энергии. „Конечно,—говорит Малон (395),—внушительная диверсия могла бы иметь место, если бы члены секций Интернационала и революционные комитеты городов имели более времени окончить свою подготовку и войти в соглашение“.

„Делегация (внешних сношений), — пишет Лиссагарэ (252), — удовольствовалась тем, что посылала изредка нескольких эмиссаров, лишенных знакомства со средою, лишенных такта лишенных авторитета. Ее даже эксплоатировали изменники, которые положили деньги в карман и выдали ее инструкции Версалю. Напрасно предлагали свои услуги известные республиканцы, знакомые с нравами провинции. И здесь, как в других должностях, надо было нравиться руководящему кружку. Наконец, чтобы поднять Францию, рискнули всего 100.000 франков.. Эта делегация, созданная исключителено для внешних дел, забыла совершенно остальной мир. Во всей Европе рабочий класс жадно впивал в себя известия из Парижа. Сердцем бился он с великим городом, сделавшимся его столицею, учащал митинги процессии, адресы. Его журналы, большею частью бедные, смело боролись против клевет буржуазной прессы. Обязанность делегации была — протянуть руку этим драгоценным союзникам Она ничего не сделала.“ Коммунальное движение внутри Франции, неорганизованное, предоставленное самому себе, ограничилось местными, разновременными, отрывочными и быстро подавленными взрывами (Liss. гл. IX, X и XIII). Рабочие других стран Европы, оставленные без правильных сведений (которых не получал даже Генеральный Совет Интернационала в Лондоне), не возбуждаемые живыми сношениями, личными участниками событий, не могли перейти от сочувствия к деятельной помощи. тем более, что агитация Ин-

тернационала, направленная до тех пор на чисто экономические вопросы и не выставившая никакой политической программы в зависимости от своих экономических требований, оказывалась бессильною в ту самую минуту, когда обстоятельства вызвали победоносный взрыв пролетариата в одном из самых важных пунктов Европы. Когда в средине мая, при явной безнадежности для Коммуны отстоять себя собственными силами, добровольные эмиссары пошли искать ей помощи в Бельгии и у Генерального Совета, ни бельгийский Интернационал, ни грозный Совет, который так обвиняли в централизации власти, не только не могли произвести вспомогательного социалистического движения на границах Франции, но не были в силах вызвать даже внушительных демонстраций в пользу гибнущей Коммуны.

Судьба ее была решена. Падение ее было уже лишь вопросом времени. „Наступил период обморока, безграничного утомления. Соперничества, споры, интриги расслабили всякую энергию. Совет (Коммуны) занимается мелочами, глупостями. Комитет общественного спасения учащает романтические прокламации, которые никого не трогают. Центральный Комитет думает только о захвате власти“ (Liss. 336).

В 7 часов вечера 21 мая Комитет общественного спасения получил телеграмму Домбровского, что версальцы вступили в Париж. Когда Бильоре доложил эту телеграмму в заседании совета Коммуны и прибавил: „Комитет общественного спасения бодр

ствует“,—на минуту все молчали. Мысль о столь быстрой развязке не могли еще усвоить. Затем председатель Совета, Жюль Валлэс, торжественно перешел к порядку прений (Arn. III, 90) и в 8 часов закрыл последнее заседание Совета парижской Коммуны. „В следующие дни,—пишет Арт. Арну (III, 41),—она уже не действовала, как политическая власть. Действие перешло к самому народу и к нескольким личностям, которые собственною силою держались на поверхности волн во время самой ужасной бури. Пока обстоятельства позволяли им что-либо делать, члены Совета могли действовать только лично, разбросанные, бегая от одной баррикады к другой, или взятые в плен, отрезанные версальскими войсками“. Последний номер „Официального журнала“ вышел 24 марта (Liss. 379). Под версальскими бомбами, падавшими на типографию, появлялись еще журналы в Париже (Liss. 367). Еще афиши на стенах Парижа назначали на 22, на 25 мая концерты и представления („Mur. Pol“, II, 559, 565).

Было уже сказано выше, что защита Парижа была в это время предоставлена местной, личной инициативе. Ничего не было сделано заранее для обороны таких пунктов, как Трокадеро, Монмартр, Пантеон, Buttes Chaumont. „Всюду шли прения“,—пишет Лиссагарэ. Из пяти членов Комитета общественного спасения Бильорэ исчез 21 мая. На другой день исчез Пиа. Центром обороны был Делеклюз и „замогильная речь“ этого едва дышащего ста-

рика отпевала последних бойцов за Коммуну (Liss. 381). Но все было кончено. Никакая энергия, никакое самоотвержение не в состоянии спасти в последние минуты общественный строй, не подготовивший своей победы, не подготовивший своей обороны. Делеклюзу оставалось только умереть. Он пошел сознательно на верную смерть. „Молча, доверившись лишь своей строгой совести, Делеклюз пошел на баррикаду, как старинные монтаньяры шли на эшафот. Долгий путь жизни истощил его силы. Он едва дышал; он отдал свое последнее дыхание“ (Liss. 402). Центральный Комитет национальной гвардии за два дня перед тем издал свою последнюю прокламацию („Mur. Pol.“ II, 571), где ставил условия победителю, занявшему уже половину Парижа. Накануне появилась последняя прокламация Комитета общественного спасения (там же, 570). Ранвье сделался последним официальным центром борьбы, и его именем подписана в Бельвиле последняя прокламация парижского восстания пролетариата (там же, 576). Риго, Варлен и еще два члена Коммуны пали под пулями версальцев. Той же участи подвергся Мильер. Через несколько времени умерли от ран в Версале Верморель, в Бельгии— Тридон. Чрез полгода Комиссия помилования совершила юридическое убийство Росселя и Феррэ. Другие шли в Новую Каледонию. Наиболее счастливые начинали жизнь изгнания в Лондоне и Женеве. Короткий эпизод первой революции, совершенной пролетариатом *для пролетариата*, кончался тор-

жеством его противников. Этот эпизод с 18 марта по 28 мая продолжался 72 дня.

8. Что сделала Коммуна?

Парижская Коммуна пала. При данных условиях это падение было фатально. Революция застала передовые партии неподготовленными к тому, чтоб захватить в свои руки движение, дать ему определенную программу и решительно осуществить ее. Революция не нашла в передовых партиях людей с надлежащим знанием и умением военного дела, чтоб создать план действия, приспособленный к данным обстоятельствам. Революция, поднявшая самое передовое знамя, по необходимости передала его в руки людей, которые внесли в борьбу слишком много личных недостатков, личных столкновений из-за власти и придали внутренней истории Коммуны характер, мало достойный того дела, за который билась и гибла Парижская Коммуна 1871 года. В избытке сыпались обвинения на этих людей, оказавшихся —„ниже своей задачи“, и эти обвинения не только встречаются почти неизбежно в произведениях противников Коммуны, но высказываются не раз и ее сторонниками (особенно Лиссагаре). Припомним по этому поводу слова Бакунина („Общ.“ № 5, стр. 9): „Люди не преображаются, не перерождаются в один день, не меняют своих привычек, когда угодно“. Повторим слова Артюра Арну (III, 85): „Не следует никогда забывать, что люди,

которые мечтают о будущем обществе, пытаются положить ему основание, родились, воспитались в настоящем обществе; что его традиции, его примеры, его воспитание пустили в каждом из нас корни, которые трудно совсем отрезать". Все патологические явления истории Коммуны, столь поучительные для революционеров, изучающих эту историю, были прямыми и явными следствиями тех обстоятельств, в которых произошел взрыв 18 марта, —тех условий, при которых развились и выработались люди, принявшие неожиданно на свои плечи тяжелую ответственность быть представителями и руководителями парижского пролетариата в минуту его победоносного восстания. При этих обстоятельствах и этих условиях не могут и не должны удивить никого патологические явления, которые я не думал ни обходить, ни скрывать, как не может никого удивить фатальный факт падения Коммуны. Но можно и следует изумляться, что, при столь невыгодных условиях, при столь печальных обстоятельствах, Парижская Коммуна 1871 года могла еще продержаться так долго и сделать так много.

Потому что лишь то, что она действительно сделала, поставило ее так высоко в воспоминаниях всемирного пролетариата, борющегося за свои права, и соединило в ее почитании все разнообразные партии, разделявшие и разделяющие в последние годы приверженцев рабочего социализма.

Что же сделала Коммуна? В каких элементах этой совокупности событий,—заключавшей в себе не-

мало печальнаго и жалкого,—содержится ее завещание будущей истории и тайна ее влияния на настоящее социальное движение?

Мне кажется, что эти исторические элементы все обусловливаются одним принципом, присущим парижскому движению, и только одним. Насколько это движение осталось верно этому принципу, насколько оно тесно примыкало к нему, насколько действия личностей и групп, участвовавших в Парижской Коммуне, были следствиями и выводами из этого принципа, настолько Парижская Коммуна заключала жизненных элементов для настоящего и будущего. Все ошибки и печальные стороны событий этих двух с половиною месяцев произошли от отклонений от этого основного принципа. Все, что в этих событиях не имело прямой связи с этим принципом, составляет временную примесь, обреченную на историческое бессилие и на историческую смерть.

Я не раз уже упоминал об этом принципе, который я нахожу самым существенным в революции 18 марта 1871 года. Это была революция *пролетариата*. В первый раз он в ней сознательно противупоставил *свои* интересы и стремление интересам и стремлениям господствующих классов.

Проследим же вкратце факты, в которых этот принцип проявился наиболее ярко; посмотрим в каких отдельных явлениях он отразился более или менее ясно; отметим в совокупности событий разнообразного происхождения те события, которые с ним имели более или менее отдаленную связь. В

этом именно заключается историческое *дело* Коммуны, ее завещание будущему. Да, как сказано в приведенных выше (стр. 87 и 88) словах Артюра Арну: „Традиция была разрушена. Нечто неожиданное совершилось в мире. В правительстве не было ни одного члена управляющих классов“. Тому несколько лет я пробовал („Впер.“ 1875, 132) вкратце характеризовать переворот 18 марта словами, которые могу повторить и теперь: „Революция 1871 года *в первый раз в истории* решилась с самого начала поставить в своей главе „неизвестных людей“ из народа. Парижская Коммуна 1871 г. была первою организацией общества, во главе которой стояли Франкели, Варлены, Тэйсы, Пенди и другие работники физического труда, и при всех ошибках, при всех несовершенствах управления Коммуны, они доказали, что рабочий класс может выставить для распоряжения общественными делами лиц, которые нисколько не хуже распорядятся ими, чем работники интеллигенции, считавшие до тех пор администрацию своею специальностью... *Сравнительно* с декретами, вышедшими из парламентов и министерств, наполненных тщательно выращенными, выхоленными и дрессированными политическими людьми, законодательство Коммуны едва ли может заслужить какое-либо порицание: переплетчики, слесаря, золотых дел мастера оказались настолько же годными для этого дела, как и воспитанники различных лицеев и специальных школ, выросшие в среде дельцов и политиков. Парижская Ком-

муна, в свое короткое существование, *окончательно уничтожила иллюзию*, что буржуазное развитие дает какое бы то ни было превосходство в управлении общественными делами,—иллюзию, что пролетариат, на другой день после победы, все-таки будет нуждаться в интеллигенции побежденных буржуа и все-таки должен будет поставить в своей главе тех, против которых восстал... Великие дни марта 1871 года были первыми днями, когда пролетариат не только произвел революцию, но и стал во главе ее. Это была *первая революция пролетариата*".

В совершенном согласии с этим началом Коммуна установила декретом равенство содержания чиновников высшей администрации и людей физического труда. Члены ее Совета получали не более хорошего рабочего в выгодной отрасли ремесла, 15 франков в день, и высшее содержание в новой республике не должно было превосходить 6.000 франков. „Начиная со службы членов Коммуны, вся общественная служба должна была быть оплачена по размеру заработной платы простого рабочего" („Civ. War." 17). В то же время содержание школьных учителей было почти удвоено и доведено до 2.000 франков (Arn. II; 129).

Хотя мы видели, что слишком часто в официальных бумагах и заявлениях идея политически-коммунальной революции заслоняла идею революции пролетариата, однако следует заметить, что последняя снова и снова выдвигалась на первый план,

как действительное содержание совершившейся революции. Прежде, чем интернационалист Лонгэ проповедывал в „Официальном журнале“ фантастическое прекращение сословного антагонизма, этот журнал печатал (21 марта) заявление: „Пролетарии столицы, среди бессилия и измен правительственных классов, поняли, что пришел час для них найти исход из данного положения, взяв в свои руки распоряжение политическими делами... День освобождения пролетариата настал“. Чрез два дня прокламация Центрального Комитета объясняла оппозицию буржуазной прессы ее „досадою на переход господства в мир рабочих“ („Mur. Pol.“ II, 78). Тот же Центральный Комитет говорил 5 апреля в прокламации, обращенной к жителям Парижа: „Не обманывайтесь, работники: это—великая борьба, это столкновение паразитизма и труда, эксплоатации и производительности... Все вы—трудящиеся и ищущие решения общественных задач, вас приглашает Центральный Комитет итти согласно путем прогресса“ (Lanj. Cor. 214—215). Мэр 5-го округа, призывая к выборам жителей этого округа, говорил им „о развитом пролетариате, истинном народе, единственом классе, чистом от наших ошибок и падений, единственном, наконец, способном спасти страну“ (Mur. Pol. II, 128).—Старый социалист Бэлэ, защищая в заседании Коммуны 14 апреля свой проект расчета между кредиторами и должниками в Париже, рассматривал его, как „первую ступень общественной ликвидации“ („Journ. Off“. № 105). Вопрос

о ночной работе в булочных подвергался в заседании 28 апреля обсуждению, как вопрос „социальный и гуманитарный", при чем Франкель заявлял: „Мы здесь не для того только, чтобы защищать муниципальные вопросы, но для того, чтобы совершить социальные реформы... Единственное полномочие, мною принятое,—защищать пролетариат" (там же, № 119). Тот же Франкель, в заседании 6 мая, ставил в будущем целью Коммуне „реформу экономического строя" неразделыную от организации труда (там же. № 127). А в заседании 12 мая представитель якобинцев Бильорэ требовал, чтобы Коммуна давала подряды „лишь рабочим ассоциациям, говоря, что это был бы „первый серьезный шаг на пути социализма" (там же, № 133).—В журнале „La Commune"—едва ли не самом замечательном по теоретическим статьям во время Коммуны из *продолжавшихся* журналов, если оставить в стороне пестроту взглядов его сотрудников,—Марэ, нынешний редактор „Марсельезы", говорил 31 марта, что в Коммуне дело идет не о „республике", но о „революции" (№ 12). Наконец, Верморель, в том самом № 2 „Ami du Peuple", из которого я приводил выше цитаты, и где он обещал разработать „великие революционные меры" настоящей минуты, говорил своим избирателям: „Революция 18 марта, если вы сумеете доставить ей окончательное торжество, останется одним из великих событий истории человечества... Она освятила достижение господства пролетариатом". Вообще можно согласиться, в некоторой мере, с Артю-

ром Арну, когда он говорит (III, 97): „Коммуна решительно развернула знамя социализма и была первым, правильно учрежденным, несколько последовательно действовавшим правительством, которое не противу воли приняло опорою социалистические принципы, заявляя, что дело, которое оно совершило, было не только делом политической свободы, но и делом социального обновления“. Это „социальное обновление“ заключалось и могло заключаться исключительно в принципе революции, совершенной в пользу рабочего пролетариата.

Лишь в зависимости от этого основного принципа революции 18 марта приходится рассматривать и тот принцип коммунальной независимости и коммунальной федерации, которому большинство сторонников Коммуны придает первостепенное значение. Мне в предыдущем пришлось уже достаточно говорить о происшедшем смешении представлений автономной коммуны политической, средневекового идеала, в борьбе за который выработалась и окрепла буржуазия в первых фазисах ее развития, с автономной коммуной пролетариата, которая должна была возникнуть после экономической победы пролетариата над его врагами, после установления *внутри* коммун общественной солидарности, немыслимой при существовании экономической эксплоатации труда капиталом и неизбежной поэтому вражды классов внутри каждой коммуны. Рассматривая требования коммунальной автономии в том виде, как они были большею частью поставлены во время борьбы, может

показаться странным, какую связь видели бесспорные социалисты Коммуны между основным вопросом социализма о борьбе труда с капиталом и той свободной коммуны, которую они одну выставляли на своем знамени. В небольших городских республиках гнет капитала над трудом мог быть столь же неумолим и гибелен для рабочих, как и в обширных державах, а пока централизация богатств в руках меньшинства продолжалась, пока капиталистическое хозяйство имело место, первый шаг к освобождению труда не был еще сделан. Эмансипация разносословной коммуны, где господствовал бы по-прежнему капитал, не имеет ничего общего с эмансипациею труда от капитала. Довольно вероятно, что есть некоторая доля истины в мысли, высказанной мимоходом Дюнойе в его ответе следственной комиссии (Enq. 18 Mars II, 582), что группировка рабочих в Интернационале по секциям и путем федерации этих секций была одним из элементов развития коммунальной идеи во Франции в 1871 году. „Эта ассоциация—говорил Дюнойе—имела готовую организацию, где слово *коммуна* прикрывало слово *секция*, и федерация коммун была не чем другим, как федерацией секций". Действительно, как уже было указано выше, реальный автономный элемент строя, к которому должна привести социальная революция, есть не политическая коммуна, допускающая экономическое неравенство, смесь паразитов и трудящихся классов и т. д., а солидарная группа работников разного рода, примкнувших

к програме социальной революции. В этом отношении, действительно, коммуны и их федерация должны были повторять в более широких размерах тип секций Интернационала и их федерации. Мы видели выше (см. стр. 18 и 19), что такова была мысль, высказанная Гинсом на Базельском конгрессе Интернационала. Но в минуту революции 18 марта политическая теория автономных коммун, в том виде, в каком они находились в данную эпоху, имела еще иное значение для социалистов революционеров Парижа. В этом случае следует рассматривать требование автономии Коммун не отдельно, а в связи с другим весьма важным требованием, которое ставил революционный Париж 1871 года и в котором заключался собственно весь узел вопроса.

Оборона Коммуны исключительно национальною гвардиею, иначе говоря всем вооруженым населением города *с выборными* начальниками, отдавала *силу* в руки большинства, т.-е. неизбежно в руки рабочего класса. Автономная коммуна, где военная сила была бы в руках кондотьери или особенного войска, оплаченного городом, т.-е. богатым классом, с начальством, назначенным городским советом, была бы столь же, если не более, печальною формою для массы рабочих, как и нынешние государства, и поэтому не помогла бы никакая свобода в федеративных союзах городов. Дело шло об автономном городе, где вооруженная сила находилась бы в руках пролетариата и его избранников. Это было продол-

жение той политики, при помощи которой Варлен и его товарищи хотели в промежуток 3—18 марта организовать сначала национальную гвардию Парижа, а потом всю национальную гвардию Франции, как вооруженную силу социалистического пролетариата. Пользуясь раздражением республиканской и патриотической буржуазии Парижа против явно монархической тенденции версальского собрания и постыдного мира, им заключенного, социалисты Парижа хотели *вместе* с буржуазией, совершить сперва *политическую* революцию, которая создала бы повсюду единственную вооруженную силу, находящуюся в *их* руках, и затем уже, с помощью этой вооруженой силы, они совершили бы революцию *экономическую*. Но подобная политика имела случайную возможность осуществиться частью лишь при том исключительном положении, в котором находился Париж в промежуток между двумя осадами; буржуазия же была слишком проницательна, чтобы не видеть, что, при *данных* обстоятельствах, дело шло вовсе не об автономии коммун и их федерации, а о передаче вооруженной силы в руки пролетариата, каковы бы ни были отношения коммун к более крупным группам и к „нации". Пойти на подобную приманку было бы со стороны буржуазии самоубийством и потому она, в огромном большинстве, стала немедленно врагом Коммуны. Все выборные ее члены немедленно оставили Совет города, как только увидели, что они распоряжаться *силами* этого города не будут и что поэтому вопрос об . об-

щественной ликвидации" есть лишь вопрос времени. Между тем Совет Коммуны, на другой же день своего учреждения — провозглашал весьма важный декрет: „Конскрипция отменяется. Никакая военная сила, кроме национальной гвардии, не может быть создана и введена в Париж. Все граждане, способные носить оружие, входят в состав национальной гвардии" (Lanj. Cor. 163). „Париж имел возможность сопротивляться, — говорит Манифест Генерального Совета Интернационала (Civ. War. 17), — потому, что, вследствие осады, он был избавлен от армии и заменил ее национальной гвардией, которая, главным образом, состояла из рабочих. Этот факт должен был теперь сделаться законом. Поэтому первый декрет Коммуны устранял постоянную армию и заменял ее вооруженным народом".

Очень возможно, что Пиа, который предложил этот декрет, не видел всего его значения, и многие, повидимому, неясно видят его и теперь (Liss. 180), но, в сущности, если бы удалось во всей Франции осуществить один этот декрет, вместе с правом выборов начальства для национальной гвардии, то дело пролетариата сделало бы громадный шаг, который почти обеспечил бы ему победу. Тем, кто допускал осуществимость политического плана произвести *вместе с буржуазией*, пользуясь минутой, политическую революцию, которая, не касаясь еще экономического вопроса, передала бы вооруженную силу в руки пролетариата автономных городов, приходилось допустить, что этот декрет был, действи

тельно, самым необходимым. Удачные коммунальные восстания в разных частях Франции, которые, по примеру Парижа, установили бы такой же порядок, были бы важным приобретением революции пролетариата. Многие представители прессы (напр. Бриссак в „La Commune“, № 16), не особенно глубоко вглядываясь в этот вопрос, очень энергически утверждали, что „возможны лишь те условия примирения, которые дадут Парижу все требуемые им гарантии“. Но ошибка была в иллюзии, будто буржуазия могла когда-либо пойти на подобную сделку. Буржуазия стала целиком поддерживать версальское правительство. Там же очень быстро увидели, в чем сущность вопроса, и уже 21 марта Жюль Фавр „просил прощения у Бога и у людей“, что отстаивал пред пруссаками существование национальной гвардии (Liss. 127). А первым делом победоносной реакции после казней массами была отмена этого народного вооружения.

Между тем, именно надежда совершить это важное для пролетариата приобретение *вместе с буржуазией* побудила революционных деятелей поступать бережнее со своими временными союзниками и стушевывать слишком резкую постановку экономического вопроса. Ввиду предполагаемой возможности овладеть действительною силою в Париже и в стране, интернационалист Варлен, у которого одного из первых в начале марта созрела мысль об организации национальной гвардии, как вооруженной силы рабочего пролетариата, готов был де-

лать в эпоху Центрального Комитета всякие уступки мэрам и депутатам Парижа—лишь бы буржуазия не мешала *главному* делу. Ввиду той же возможности интернационалисты Журд и Варлен останавливались пред печатями казначейства; Журд уверял, что Коммуна не касается частной собствености и употреблял все свои силы, чтобы его финансовые операции не запугали „кредита“, т.-е. буржуазии. В силу этого, интернационалист Лонгэ уверял в „Оффициальном журнале“, что социальный раздор не существует в Париже, который, будто бы, поставил на первый план вопрос о своей политической автономии. Все социалисты проповедывали единство, примирение, хотя не могли не знать, что это примирение невозможно. Эта проповедь мешала ставить резко вопросы социальной революции, деморализировала массы надеждой на соглашение и, как следствие, мечтой о ненужности очень энергических мер защиты. Лишь под самый конец второй осады мысль о невозможности соглашения стала укореняться, и стали раздаваться из массы голоса, утверждавшие, что „всякий, кто говорит о соглашении, есть изменник“ (Journ. Off. № 125). Версаль уже гораздо ранее стал на эту точку зрения. Конечно, если бы отуманенная буржуазия предоставила всю вооруженную силу пролетариату, он мог временно остановиться пред „святынями“ казначейств, банков и частных богатств. Журд мог в заседании 25 апреля по поводу закона о ссудных кассах (Mont de piété) напомнить, что

Коммуна „еще никогда не нарушала прав собственности“ („Journ. Off.“ 26 апр.). Это был вопрос времени. Но еще раз сказалось, что попытки достичь целей пролетариата *вместе* с буржуазиею не могут уже удаться ни при каких обстоятельствах, что, поэтому, даже политическая революция, которая передала бы вооруженную силу пролетариату в автономных городах, сохраняющих прежний экономический строй, есть революция, которой содействовать буржуазия не будет. Если восставший пролетариат *может* победить, то ему приходится прямо совершить *одновременно* экономическую и политическую революцию; приходится зараз отнять у противников их экономические силы и сделаться единственною вооруженною силою нового строя. Коммуна сделала важный шаг для уяснения политической програмы социальной революции именно в последнем отношении. В бесчисленных возгласах о коммунальной автономии и федерации коммун оставалась менее видною существенная часть этих требований, в которой и заключается вся суть коммунальной програмы с социалистической точки зрения. Пролетариат, в минуту победоносной социальной революции, должен охранять свою экономическую и политическую победу вооруженною силою, состоящею из федерированных групп пролетариата, выбирающих своих начальников и не допускающих никакой военной силы вне этой, никакого военного начальства, вне избранного. Коммуна будущего есть элементарная группа самоуправляющихся рабочих,

вооруженных для своей обороны, выбирающих свое начальство и свободно федерирующихся для своей защиты. Автономия групп и их федерация здесь важны как автономия групп, *установивших экономическое равенство* и организованных для его поддержки и для его защиты с *исключением* всех элементов, враждебных рабочему классу или не приступивших к новому строю. Лишь такая коммуна может быть реальным социалистическим элементом, так как лишь в среде ее может существовать солидарность; лишь такая коммуна может быть автономным элементом социалистической федерации, так как лишь она может искренне поддерживать и защищать новый строй.

Но это предполагает, что экономический переворот совершился. Освобождение и господство пролетариата может иметь место лишь при осуществлении этого переворота. Взять в свои руки вооруженную силу общества пролетариат может лишь тогда, когда ему удастся вместе с тем осуществить и этот переворот. Мы видели, что победоносный пролетариат Парижа считал возможным иной путь: завладение вооруженною силою, как предварительный шаг к осуществлению экономической революции. Но он вполне сознавал и насущное значение экономических вопросов. Самые продолжительные прения в Совете Коммуны шли о вопросах этого рода (о сроках платежа просроченных обязательств, о расчетах между жильцами и домохозяевами, о ссудных кассах и т. п.). Кроме того, делались и вполне сознательные шаги

к подготовлению экономической революции. Это было делом учрежденной по требованию членов Интернационала в среде Совета Коммуны „Комиссии труда, промышленности и обмена“, в состав которой входили Малон, Франкель, Тейс, Дюпон, Авриаль. С 21 апреля делегатом интернациональной комиссии по этому отделу был Франкель, контрольную же комиссию составляли — Тейс, Малон, Серальс, Лонгэ и Шален. Официальною обязанностью ее была „пропаганда социалистических учений“ и „отыскание средств управления труда и заработной платы“ (Lanj. Cor. 159). Она поставила себе задачею „исследование всех реформ, которые, надо внести как в общественную службу коммуны, так и в отношения рабочих к их патронам: пересмотр коммерческих законов, таможенных тарифов, преобразование всех прямых и косвенных налогов; установление статистики труда“. Франкель собрал около себя для этого Комиссию инициативы, состоявшую из рабочих (Liss. 256—257). Эта комиссия должна была призывать в свою среду делегатов Интернационала, рабочих обществ, промышленных и учебных групп, требовать от них отчетов и проектов, обсуждать вместе с ними эти проекты и вырабатывать декреты, которые предлагались бы Коммуне. „Это было, — пишет Артюр Арну (II, 130), — нечто вроде Государственного Совета... долженствовавшего придать практическую форму желаниям рабочих, которые Коммуна обратила бы потом в закон“. Конечно, все это предполагало удачу общего политического плана,

именно сохранение в продолжение достаточного времени власти в руках вооруженного пролетариата, чтобы он мог спокойно выработать себе законодательство в свою пользу и затем ввести его в действие. Но внешние и внутренние враги, как и следовало ожидать, не дали ему на это достаточно времени и единственный путь *возможного* успеха был бы при данных обстоятельствах совсем иной: выступление пред организованными рабочими группами их представителей с готовым, заранее продуманным планом (хотя бы и весьма несовершенным) экономического переворота и организации труда, производства и обмена; быстрое обсуждение рабочими группами и введение в действие Коммуною этих революционных мер, как *исходного пункта* революции пролетариата, и затем постепенный, медленный, строго обдуманный пересмотр этого временного революционного законодательства рабочею организациею нового строя, если бы последнему удалось упрочить свою победу. Подобный план, даже в случае поражения и гибели Коммуны, остался бы весьма важным завещанием будущему. Но, конечно, подобный план предполагал со стороны французских социалистов 1871 года теоретическую и практическую подготовку, которой у них не было; предполагал существование тесной умственной и нравственной связи в социалистической партии между ее главными представителями и группами— связи, которая не имела места; предполагал, наконец, в самих представителях социализма в Коммуне уве-

ренность в себе и в том, что они могут и должны сделать — уверенность, которой не существовало.

Тем не менее, учреждение Комиссии труда, промышленности и обмена и способ действия Комиссии инициативы оставлены Коммуною, как важное для социально-революционной партии указание того, что ей надо сделать, не *после* революции, когда настанет, по выражению Малона (167), „время уже не для социальных реформ“, но *при подготовлении* социальной революции. В это, именно, время группы организующейся и организованной рабочей партии, одновременно с „действиями“ против враждебного строя, должны вырабатывать план экономического переворота в области производства, обмена и распределения: план, соображенный с существующими местными условиями, опирающийся на точное знание производительных средств каждой местности, чтобы быть *готовыми* в случае успеха, который слишком часто в истории зависит от комбинации многих случайных обстоятельств, и не может быть предвидим самыми проницательными участниками движения.

При данных условиях не только декреты Коммуны, которые осуществили бы социалистическое законодательство Комиссии инициативы, не могли быть представлены, но самое проектирование их подвинулось очень не далеко, и Коммуна могла сделать весьма немного для выработки социалистической программы будущего строя. Лишь отдельные,

довольно маловажные пункты, имеющие социалистическое значение, могли быть доведены до прений Совета Коммуны. Малон в своей „Истории социализма“ (369—370) приводит 26 декретов Коммуны, которым он, повидимому, придает социалистическое значение, но, при внимательном чтении их, легко заметить, что многие из них могли бы иметь место и в программе либеральной буржуазии или совершенно не зависят от тех целей, которые преследовала Коммуна. К этим категориям можно отнести и такой крупный пункт, как отмену бюджета вероисповеданий и конфискацию церковных имуществ, или отмену присяги, тем более декрет о разрушении Вандомской колонны, или о выдаче пенсий раненым за Коммуну и об усыновлении семей лиц, павших в революционных битвах. Даже декреты о расчете между кредиторами и должниками или о неуплате за квартиры хотя возбудили долгие прения в Коммуне и вызвали даже намеки на „общественную ликвидацию“, но в сущности были временными мерами, которые, в минуту общественных бедствий, приходилось принимать обществам, наиболее тщательно охранявшим „святыню частной собственности“. Более связи с идеями социализма имеет декрет о ссудных кассах, но и то скорее по своей мотивировке, чем по своим распоряжениям. Поэтому серьезное значение в отношении развития начал социалистического строя имели весьма немногие декреты, да и те довольно отрывочное. О некоторых из них мне пришлось уже говорить, поэтому осталось упомянуть

чить два—три, которые все проведены под влиянием Комиссии труда, промышленности и обмена.

Конечно, самый важный из них был декрет о бездействующих мастерских. Мы видели выше (стр. 48 и 49), что Мильер, в своем плане народной революции, намекнул на то, как следует поступить в подобном случае. Так как многие мастерские и фабрики были брошены их собственниками, то Коммуна поручила синдикальным камерам учредить следственную комиссию, с целью описи этих заведений и орудий, в них заключающихся, а также с целью „представить отчет, который указал бы практические условия быстрого приведения в действие этих мастерских, уже не беглецами, их оставившими, но кооперативной ассоциацией рабочих, в них находившихся", и вместе с тем „выработать проект организации рабочих кооперативных обществ". При этом однако же, имелось в виду, при возвращении патронов, определить, путем особенного жюри, „условия окончательной передачи мастерских рабочим обществам" и цифру „вознаграждения патронам" со стороны последних. „Этот декрет,—пишет Лефрансэ (272),—был ни более, ни менее, как действительное начало движения социальной революции: это была экспроприация, ввиду общественной пользы и с охранением права на вознаграждение, орудий труда, сделавшихся неподвижными и непроизводительными в руках их настоящих владетелей". „Таким образом,—говорит по поводу того же декрета Лиссагарэ (257), намекая на слова Маркса,—экспроприаторы

были экспроприированы в свою очередь".—Может быть историки Коммуны видят более в этом осторожном декрете, чем в нем было, особенно, если взять в соображение пункт о „вознаграждении", однако нельзя не признать, что этот декрет находился в тесной связи с пониманием революции 18 марта, как революции пролетариата. „К несчастию,— пишет Лефрансэ (275), —с этим декретом случилось то же, что и с другими. Его не могли привести в действие, так как события пошли слишком быстро"...

Более отдаленным подготовительным шагом были декреты: об установлении заработной платы во всех контрактах на подряды, заключенных Коммуною, в видах, чтобы понижение подрядной цены не падало на рабочего понижением его заработка („Journ. Off." 133): об отмене штрафов и вычетов, падающих на заработки, при отправлении работ или административной службы: о заведении при мэриях регистров для спроса и предложения работ. Отмена ночной работы в пекарнях была ошибкой, хотя сделанной с самым лучшим намерением; но в этом случае, именно, приходилось дело начинать лишь по инициативе самих рабочих, а не издавать декрет, который не исполнялся при содействии самих же рабочих (Arn. II, 131—132). Несколько удивительно, что Франкель во время прений на заседании 28 апреля сказал об этом декрете, что это „единственный истинно-социалистический декрет, изданный Коммуною" („Journ. Off." 29 апр.).

Упомяну еще о декрете, который, если и отно

сится к важному социальному вопросу, то уже вовсе не к вопросу экономическому, декрет, который может показаться сам собою разумеющимся, но который Арт. Арну, может быть справедливо, называет (II, 124) „одною из самых больших дерзостей Коммуны, так как он радикально решал нравственный вопрос и ставил веху на пути глубокого преобразования нынешнего семейного строя". Это был декрет, уравнивавший в правах на пенсию „законную и не законную" подругу убитого сторонника Коммуны, „признанного и не признанного" им ребенка. При существующей во Франции рутине взглядов на этот предмет, декрет этот, действительно, заслуживает полного внимания.

В области обучения и суда не только социалистический элемент революции 18 марта не заявил себя ничем, но и вообще сделано было довольно мало. „Делегация обучения,—пишет Лиссагарэ (255),—была обязана написать одну из самых блистательных страниц Коммуны, так как после стольких исследований и опытов этот вопрос должен выйти во всеоружии из истинно революционной головы. Делегация не оставила ни мемуара, ни труда, ни адреса, ни строчки, чтобы засвидетельствовать пред будущим о своей деятельности". Реорганизация оставленных школ и удаление из школ клерикального элемента составляли единственные шаги в этом отношении (Lefr. 273). Впрочем, повидимому, имелось в виду завести „образцовую школу, которая употребляла бы опытный метод" (Mal. 167),

но на это не хватило времени. Лиссагарэ нападает (254) и на недостаток инициативы делегата в судебной области, Прото, но, по словам Малона (173), „он предпринимал полную реформу судебной системы во Франции, на основании избрания судей и магистратуры, и серьезных гарантий для обвиненного". Но всего этого не осталось следов.

Итак в правительственной деятельности Коммуны мы находим несколько ярких следов происхождения революции 18 марта из сознательного восстания пролетариата за свои права, но эти следы малочисленны. Все поглощено насущной заботою об ежедневной борьбе против кровожадного внешнего врага, против тысячи мелких препятствий и затруднений, возникших из того, что Париж-Коммуна был наполнен врагами пролетариата, обусловленных и уединением Парижа от остального мира; поглощено и мелкими столкновениями котерий, оспаривавших одна у другой влияние на дела. Существенный социалистический идеал, заключавшийся в восстании 18 марта, идеал рабочего пролетариата, отстаивающего свои права и требующего перестройки общества в свою пользу, заслоняется криками, раздающимися со всех сторон о свободной политической коммуне, как будто действительная свобода пролетариата была возможна без радикального экономического переворота; как будто солидарность в жизни Коммуны была осуществима, пока внутри ее продолжалась ожесточенная борьба между трудом и капиталом.

Само собою разумеется, что эпоха революции неудобна для пропаганды идей. В это время идет так называемая „пропаганда действием“, которой, собственно, не совсем правильно присваивают название пропаганды, так как при этом уяснения и распространения идей почти не происходит, но, под влиянием разнообразных возбужденных аффектов, совершается ряд явлений совершенно иного рода, скорее мешающих уяснению идей, чем ему содействующих: быстро формируются, усиливаются и распадаются партии; численность их приверженцев подвергается громадным внезапным колебаниям; энергия и симпатичность личностей, которые держат в своих руках знамена борющихся групп, имеют несравненно более влияния на ход дела, чем верность и ясность принципов, которые написаны на разных знаменах; герои совершают подвиги и мученики гордо встречают удары палачей во имя рутинного дурнопонятого или неосуществимого идеала с таким же величием, как и во имя самых истинных и самых возвышенных принципов будущего. Революционные действия вызывают *агитацию* около знамен, которые составляют центр революционных движений, и выставляют ярче эти знамена, независимо от их девизов; они возбуждают к идее горячие симпатии или непобедимое отвращение независимо от ее содержания; но укреплять идею в умах, уяснить ее неизбежные последствия и ее неумолимые требования, создавать почву для постройки общества на началах этой идеи едва ли могут революционные

действия. Таков главный элемент самого процесса революций. Тем не менее, революции, совершающиеся во имя великих социальных идей, нуждаются, рядом с пылом борьбы, в уяснении своих принципиальных положений, и около падающих жертв или торжествующих знаменоносцев идеи напоминание и уяснение истинного смысла кровавой борьбы и ее неизбежных задач может внести в бой новую силу и сделать этот бой более плодотворным для будущего.

Во время Парижской Коммуны сделано в этом отношении весьма мало: малочисленность знаменоносцев идей вследствие предшествовавшей неподготовленности партий и внутренние раздоры представителей этих идей не давали им досуга для социалистической пропаганды. Вопрос о необходимости или вреде диктатуры и о политическом отношении избранников народа к их избирателям был несравненно более разработан в эту эпоху в речах, мнениях, записках, статьях, чем основы социального переворота, который, ставя рабочий пролетариат во главу истории, начинал новый период ее. Из немногих личностей, которые могли в данном случае стать на уровень действительно руководящих идей движения, один Мильер было в стороне от ежедневных забот осады и внутренней борьбы. Я уже упомянул выше, что он работал в „La Commune", журнале, основанном 20 марта и просуществовавшем до 18 мая, когда его, вместе с другими, запретил второй Комитет Общественного Спасения. Тут работали самые разнообразные радикальные элементы, группи-

ровавшиеся в прежнее время одни в „Марсельезе“, другие — около Ива, третьи — остававшиеся в стороне от прессы, как прудонист Жорж Дюшен, или защищавшие самым определенным образом социальные начала, как Андре Лео в „République des Travailleurs“, которая одно время пыталась сделаться органом Интернационала. В первом же номере обещал свое сотрудничество и Люлье по критике военных действий последней войны. Мы видели выше (стр. 161 и 162), что большинство участников (Марэ, Бриссак, Делималь, Добэ и др.) выступили защитниками Коммуны, как чисто политического целого, и довольно смутно отнеслись к сущности вопроса. Более определенный характер придали журналу статьи Жоржа Дюшена, с 30 марта начавшего участвовать в журнале с заявленным намерением ясно поставить задачи минуты (первая его статья так и называлась: „Необходимость высказаться ясно“). Он показал, что понимает вполне экономический вопрос движения, и в своей статье: „Революция или смерть“ (№ 26, 27) напирал на то, что коммунальная свобода Парижа есть не более, как „орудие, рычаг“ революции. „Это — форма, но не сущность, не глубокая сущность дела“. Сущностью он считал ниспровержение „каст“ (иначе говоря, сословного господства), которые проявляются в государе, в армии, в магистратуре, в духовенстве, в инженерном ведомстве, в администрации, в собственности, в монополиях, в адвокатуре и т. д.; следовательно, задачею движения 18 марта он ставил полный со

циальный переворот. Тем не менее, он считал задачею *минуты* чисто коммунальную свободу, „Париж, освобожденный своей муниципальной конституцией“ (№ 26), и посвятил вслед за этим длинную статью „коммунальной хартии“ (№№ 29, 30, 32). К концу апреля беспорядки внутреннего управления и внешней обороны Парижа так возмутили его, что он обратился к самой резкой критике правительства Коммуны. Эта критика и привела, наконец, к закрытию журнала. Итак, уяснению истинной программы Коммуны Дюшен не содействовал.

Имя Мильера мы встречаем в журнале с 27 марта по частному вопросу о расчете между жильцами и домохозяевами (№ 8). Затем он выступает в начале апреля с принципиальной статьей (№ 15) и, почти одновременно с Дюшеном, пытается поставить „Программу Парижской Коммуны“ (№№ 30,31, 33). Этим ограничилось его участие в журнале, где, после 22 апреля, его имя не встречается. Посмотрим же, как отнесся к социальным элементам задачи Коммуны этот писатель, который принадлежал к наиболее определенным предвестникам последнего взрыва. „Революции, — писал он 3 апреля, — никогда не повторяются совершенно одинаковым образом... Однако, в сущности, все революции составляют одно и то же общественное явление. Это последовательные эволюции человечества. Каждая из них образует новую форму прогресса“. Революции 18 марта, наравне с предшествовавшими ей народными движениями, он приписывал „оборонительный

характер", в этом случае относившийся к защите коммунальных прав. В будущем он предсказывал довольно неопределенно „слитие буржуазии и пролетариата для составления одного класса, народа", но предвидел, что целям революции, для которых подготовлены Париж и большие города, окажется значительное противодействие в небольших городах и в деревнях. В „Програмне коммуны" он говорил (№ 30): „Настоящее движение есть в одно и то же время революция политическая и новая эволюция, социальная... Ошибочно думать, что революция 1871 г. есть только муниципальная революция... Она есть достижение господства идеями, выработанными в последние 40 лет в полемике партий, и ее программа состоит из той доли этих идей, которая уже принята общественным мнением". Париж он рассматривал по прежнему, как „излияние всей Франции", напирал на то, что борьба с версальцами идет не только о „муниципальной свободе", но о „свободе политической" и о „социальных учреждениях". „В сущности,—говорил он,—дело идет о том, удержится ли во Франции республика с ее социальными последствиями". Вопрос настоящей минуты он формулировал так (№ 31): „Коммуна не есть учредительное собрание. Она—военный совет. У нее должна быть одна цель: победа; одно орудие: сила: один закон: закон общественного спасения". Он требовал одновременно „единства и нераздельности республики" и „автономии и независимости Коммуны".—Очевидно, что заботы ми-

путы и в этом сильном уме затемняли истинные условия экономического элемента вопроса.

Если мы будем в эту эпоху искать наиболее определенную постановку социального вопроса, нам приходится обратиться к статьям Андре Лео. Она одна ни на минуту не отступила от основных требований социализма для более неопределенной — и, как мы видели, неосуществимой — задачи создать в период ожесточенной экономической борьбы Париж, как солидарную политическую коммуну. В статье „Франция с нами“ она писала 9 апреля в „La Commune“ (№ 21): „Вам надо достойным образом поддерживать свое верование, выказать в полном блеске идею, которой вы имеете честь быть представителями... Париж, восставший против Собрания, это уже не *Коммуна*, это — *революция*. Он и должен откровенно быть революцией... Пусть услышит его голос Франция и весь мир. Гордо укрепившись в своем *праве* и в своей *идее*, пусть он победит с нами и с помощью их, если это возможно, или пусть он падет, оставив невежественному и бедному народу наследство идеи, которая освободит этот народ... Париж обладает социальной идеей. Он должен высказать ее... Он должен высказать ее громко, определенно, ясно. В настоящую минуту ему нечем дорожить“. В следующем номере появилось ее воззвание к „Французским крестьянам“, о котором было упомянуто выше. Здесь, около формулы: „земля крестьянину, орудие труда рабочему, работа всем“, сгруппированы социалистиче

ские требования революции 18 марта так, чтобы сделать их доступными сельскому населению: „Париж хочет, чтобы сын крестьянина был так знающ, как сын богача, и *даром*... Париж требует, чтобы суд не стоил ничего тем, которые в нем нуждаются, и чтобы народ сам избирал судей... Война Парижа в настоящую минуту это—война против ростовщиков, лжецов и ленивцев... Плоды земли должны принадлежать тем, которые ее обрабатывают; всякому свое и работа всем. Не должно быть более ни слишком богатых, ни слишком бедных. Не должно быть ни работы без отдыха, ни отдыха без работы. Это возможно... Для этого нужны лишь хорошие законы, которые будут существовать, когда работники не захотят более, чтобы их обманывали праздные люди... Дело Парижа—ваше дело и он трудится для вас, как и для фабричного рабочего". Андре Лео кончила статью, в которую входило это воззвание, словами, которые, может быть, были одними из самых характеристичных для понимания силы и слабости восставшего Парижа 1871 г.: „Артиллерия Парижа, это—социальная идея... Он должен послать призыв беднякам". Вопрос был, действительно, в том, насколько была подготовлена во Франции *эта* артиллерия; насколько партия, которая могла обратиться к беднякам и поднять их, была способна сделать призыв к истинным интересам пролетариата. Мы видели, что *эта* артиллерия была не более готова и организована, как и артиллерия Блюзэра и Росселя.—Через несколько дней Андре Лео поместила

в „La Commune“ еще другую статью, заключавшую обращение к женщинам Парижа.—С 19 апреля она участвовала в журнале „La Sociale“, существовавшем с 31 марта по 17 мая. Но положение сделалось слишком остро, заботы внутренние и внешние слишком господствовали, чтоб и Андре Лео возвратилась к разработке социальной идеи. Мы встречаем в № 39 некоторые интересные заметки о роли женщин в революциях“: „Женщины покинут старую веру лишь в том случае, когда примут новую. Они не хотят и не могут оставаться нейтральными. Надо выбирать между их враждебностью и их преданностью“. Но вопросы минуты преобладают. Горячо отстаивает Андре Лео Росселя. Горячо спрашивает (№ 46) 15 мая: „Слепы, что ли, члены Коммуны, или решились не видеть?“. Через два дня „La Sociale“ перестала существовать.

Итак, сквозь пеструю комбинацию событий, относящихся к разнообразным стремлениям, вызвавшим взрыв 18 марта, пред нами выясняются несколько определенных пунктов, которые стояли пред Коммуною, как ее исторические цели, и составили ее историческое содержание, ее завещание будущему.

Манифест Генеральнаго Совета Интернационала немедленно после падения Коммуны указал, что „окончательною целью ее были не „дешевое правительство“ и не „истинная республика“; это были не более, как ее спутники... Истинная тайна ее заключалась в следующем. Это было, по существу, правление рабочих, результат борьбы класса произ

водителей с классом, присвоившим себе продукты труда; это была найденная, наконец, политическая форма, в которой должна осуществиться экономическая эмансипация труда.—Вне этого последнего условия коммунальная конституция была бы невозможностью и призраком. Политическое господство производителя не может существовать рядом с продолжением социального рабства. Поэтому Коммуна должна была служить рычагом для разрушения экономических основ, на которых зиждется существование сословий а, следовательно, и сословного господства. При эмансипации труда всякий человек становится работником, и производительный труд перестает быть признаком особенного сословия... Коммуна имела в виду уничтожить сословное имущество, обращающее труд большинства в богатство меньшинства. Она имела в виду экспроприацию экспроприаторов. Она хотела внести истинное содержание в частную собственность, обратив средства производства, землю и капитал, которые теперь составляют, главным образом, средства для порабощения и для эксплоатации труда, в орудия свободного коллективнаго труда“ („Civ. War.“ 19 20).

Пролетариат Парижской Коммуны 1871 г. противопоставил *свои* интересы интересам господствующих классов и заявил свои права на революцию, совершенную во имя этих интересов. Он показал что в случае удачной революции, он не нуждается ни в какой помощи со стороны господствующих классов для поддержания общественного порядка и

ведения своих дел. Он поставил политическую программу будущего: федерацию автономных групп работников, вооруженных для своей защиты, избирающих начальников своим вооруженным силам, точно так же, как делегатов для всех отправлений общественной службы. Он представил план научного подготовления социальной революции путем обсуждения в рабочих группах вопросов производства, обмена и распределения, которые, выработавшись в определенную программу экономического переворота, выказали бы, что рабочие группы готовы совершить этот, заранее обдуманный и подготовленный, переворот в минуту взрыва, которому исторические комбинации доставили бы успех. Он намекнул, наконец, на некоторые практические приемы социального переворота в области экономической на экспроприацию производительных учреждений с передачею их в руки рабочих групп, в них находившихся в минуту революции; в области теоретической—на полное устранение элемента религии из школ и нормальных отношений общественного строя (что, впрочем. есть не более, как единственное наследство которое рабочий социализм может сохранить от завоеваний либерально-буржуазнаго строя); в области общежития на разрыв с рутинным взглядом на *законную* семью.—Повторяю, при грозных обстоятельствах, которые составляли среду, где родилась и развивалась революция 1871 года в 2½ месяца своего существования, при недостатке предварительной организация и подготовки партии, которая сде-

лала эту революцию своим знаменем; при недостатке согласия, недостатке военных талантов, при неизбежных личных столкновениях, вследствие ряда столь же неизбежных теоретических и практических ошибок, можно удивляться не тому, что Коммуна не могла отстоять себя и сделала вообще мало, но тому, что она продержалась так долго и сделала так много.

Но было ли возможно вообще торжество рабочего пролетариата? Должно ли искать причин его поражения в Париже в 1871 г. в тех обстоятельствах, о которых я говорил? или не следует ли—как я думают некоторые противники пролетариата—считать это поражение фатальным явлением, которое должно повторяться всюду, при всех обстоятельствах, так что борьба рабочего пролетариата против господствующих классов может быть героическою, но никогда не может быть победоносною?—Нет. Борьба эта не безнадежна, и победа пролетариата не только возможна, но и необходима, если она будет надлежащим образом подготовлена. Я не имею возможности здесь остановиться на этом предмете и развить его надлежащим образом, но в настоящую минуту, для того, чтобы судить, чем может сделаться при удобных обстоятельствах восстание рабочих. даже лишенное определенной социалистической программы, достаточно вспомнить о том, что произошло в Соединенных Штатах в 1877 году, и как легко этот взрыв, разлившийся от одного океана до другого, передавший в руки рабочих несколько городов

и громадные средства, мог бы перейти в победоносную социальную революцию, если бы подкладкою ему служила не простая стачка с довольно ограниченными требованиями, но обширная и определенная социалистическая программа.

При удобных обстоятельствах победа рабочей партии может зависеть лишь от двух условий: от степени подготовленности передовых социалистических групп и от героической решимости участников рабочего революционного движения. Для Коммуны обстоятельства были лишь отчасти удачны, но фатальным недостатком ее была неподготовленность к социальной революции именно передовых социалистических групп. Что касается до последнего условия, то социалистическое движение во всех странах и во всех его формах дало и даст неопровержимые доказательства, с каким героизмом приверженцы его идут на ту борьбу, которую, по местным политическим, юридическим и культурным условиям, они находят выгоднейшею для своих целей. Легальная агитация немецких социал-демократов, взрывы итальянских инсургентов, громадные стачки Англии и Америки и мученичество наших молодых борцов за будущее русского народа доказали, что социалисты всюду—да едва ли теперь не одни лишь социалисты—способны выставить ряд героев и героинь, готовых бороться упорно, неутомимо, не обращая внимания ни на препятствия, ни на опасности, ни на продолжительность и однообразие медленных, но постоянных усилий, ни на грозную силу врагов ввиду

единичных знаменоносцев будущего; ряд героев и героинь, готовых жить и умереть за свое дело.

В этой золотой книге социалистических героев в мартирологе социалистических мучеников, Парижская Коммуна занимает одну из самых величественных страниц. Здесь исчезает разница самого развитого понимания социалистических задач и самого рутинного поклонения старым революционным идеям. Здесь теоретическая неподготовленность, практическая неумелость, борьба личностей за власть, неосторожное и вредное распоряжение этою властью— все это бледнеет, обращается в ничто пред одною общею для всех характеристикою, пред горячею преданностью пролетариату и его стремлениям; пред самоотверженным убеждением, которое не останавливает никакая жертва, пред героическою решимостью делать до последней минуты свое дело. Здесь исчезало различие партий пред единством и солидарностью целого. „Коммуна, - пишет Арт. Арну (III, 93 и след.), - любила народ глубоко, безусловно, не примешивая к этой любви какого-либо иного чувства. Она принадлежала народу сердцем и делом вполне, без ограничения, без задней мысли. Она составила с ним одно целое, думая лишь о нем, разорвав решительно связи со старым миром, имея всегда пред глазами исключительную—если и не всегда достаточно ясную картину нового общества, где не должна была существовать ни одна из уважаемых привилегий, ни одна из священных несправедливостей настоящего строя... Коммуна любила

народ с убеждением. Это было даже единственное в мире собрание, где никогда, ни у одного из ее членов, не возникло чувство недоверия и опасения относительно народа, где никогда никому не пришло в голову его оттолкнуть, подвергнуть надзору, поставить ему препятствие... В Коммуне не было ни буржуа, ни рабочих, были только делегаты народа, которые существовали и хотели существовать лишь во имя народа“. Когда, в минуту битвы, Ферре встретил Вермореля, последний сказал ему, улыбаясь: „Что же, Ферре? члены меньшинства дерутся“. „Члены большинства исполнят свою обязанность“, отвечал ему Ферре (Liss. 362). И они исполнили ее наравне со своими политическими противниками. „Эти якобинцы, писал о них Бакунин („Общин.“ № 5),—сумели умереть за Коммуну! Кто же осмелится потребовать от них большего?“. Да, героически умереть на баррикадах, под пулями легальных убийц, гордо стоять пред судьями, гордо страдать в тюрьме и в ссылке, сумели одинаково все: Делеклюз и Верморель, Ферре и Мильер, Риго и Варлен, полупомешанный Люлье и Луиза Мишель, одна из самых чистых и привлекательных личностей революции 18 марта. Парижская Коммуна, как идея, как „новая революция“, врезала неизгладимо свой след в истории социалистической мысли, но ее самою славною страницею в истории человеческого героизма останутся десятки тысяч безыменных, забытых героев и героинь, мучеников и мучениц, которые дрались и гибли на баррикадах 20—28

мая, страдали и гибли на понтонах, в тюрьмах, в Новой Каледонии, и своею кровью, своими страданиями оплодотворяли почву, на которой вырастет будущая победоносная социальная революция.

Тому года полтора на большом банкете французских либералов и радикалов, если не ошибаюсь масонов, толковали с жаром об амнистии коммунарам. Один за другим поднимались бокалы и произносились громкие тосты за амнистию. Очередь дошла до одного члена, пользовавшегося влиянием в этой сфере. „Я отвергаю амнистию — сказал он. — Мы должны не дать коммунарам амнистию, но просить у них амнистию для себя“. Этот оратор был русский.

II. Влияние Парижской Коммуны.

Перехожу ко второму вопросу: что дала Парижская Коммуна европейской цивилизации и в особенности России в 8 лет, прошедших с тех пор?[1]

Прежде всего бросается в глаза, что все рабочие партии, независимо от их разделения и раздоров между ними, независимо от национальности, видели и видят в Парижской Коммуне 1871 г. *свое* дело. Генеральный Совет Интернационала и русские анархисты посвятили ей особые издания. В столице новой Германской империи, как в разных городах Итальянского королевства, в Швейцарской и в Северо-Американской республике день 18 марта составляет торжественное воспоминание для всех, сочувствующих борьбе пролетариата против господствующих классов; в 1878 г. Коммуну приветствовала и группа рабочих в Одессе („Община“ № 3—4) Каждый год в этот день привет побежденной, раздавленной Коммуне раздается на всех языках цивилизованного мира. В те печальные годы, когда

[1]) Писано П. Л. Лавровым в 1879 году. *Ред.*

в лагере разбитого социализма кипел самый сильный раздор, когда учреждение, испугавшее было все правительства Европы попыткою организовать в единую громадную силу миллионы рабочих пролетариев Европы и Америки, распалось и сошло с исторической сцены при радостных ругательствах врагов пролетариата, в эти самые годы воспоминание о Парижской Коммуне и едва ли не оно одно составляло для *всего* воинствующего пролетариата, для *всей* социалистической прессы без различия цвета и оттенка, то знамя, около которого *все* могли собираться, ту святыню, пред которою *все* преклонялись, ту мысль, в которой оставалось непоколебимым единство рабочего пролетариата в его борьбе с экономическими и политическими врагами.—Если бы Парижская Коммуна сослужила европейскому пролетариату только *эту* службу, то все-таки ее заслуга пред историею его развития и его борьбы за будущее была бы немалая.

И это соединение всех групп социалистов около воспоминания о Коммуне было не случайно. Коммуна, действительно, представляла социалистам всех оттенков не какую-либо специальную программу организации, не какой-либо обособляющий догмат, но те самые начала, которые составляли историческую основу сознательной борьбы пролетариата новейшего времени против его притеснителей. Хроническое мученичество представителей труда под давлением высасывающей все их жизненные соки силы капитала здесь концентрировалось в трагизм

великого мученичества кровавой недели, когда беззастенчиво, во имя равного для всех закона, во имя демократической республики со всеобщим правом голосования, во имя девиза „свободы, равенства и братства", который красовался на стенах, обрызганных кровью расстреливаемых, версальское республиканское правительство губило десятки тысяч пролетариев, вставших за свое дело. Это были мученики не той или другой партии революции, не того или другого толка социализма; это были мученики пролетариата в борьбе с его врагами. Кровавая неделя углубила и расширила пропасть между политическими партиями буржуазии с одной стороны, с их самыми радикальными девизами, самыми пышными изречениями, и рабочим социализмом —с другой. Все чувствовали справедливость слов Манифеста Генерального Совета Интернационала („Civ. War." 33): „После троицына дня 1871 г. не может быть ни мира, ни перемирия между французскими рабочими и теми, кто присваивает продукты их труда...... Битва должна возобновиться в размерах все расширяющихся, и не может быть сомнения в том, кто окончательно восторжествует—меньшинство ли, присваивающее чужой труд, или неизмеримое большинство рабочих.... Но французские рабочие составляют лишь авангард современного пролетариата". Для всех, кто не закрывал добровольно глаз, было ясно, что положение рабочего пролетариата мог улучшить лишь переворот, который унес бы с собою *весь* экономический

строй старого общества вместе с остатками политической и клерикальной реакции, составлявшей предмет гнева радикалов буржуазии. Мечтам и теориям о гармонии между интересами буржуазии и интересами рабочего класса был нанесен окончательный удар.

Тем не менее, как я сказал, именно вслед за Коммуною последовало распадение Интернационала; за фактом, вызвавшим единодушное, почти религиозное сочувствие воинствующего пролетариата всех стран, последовало распадение той организации, которая выразила с таким блеском в продолжение восьми лет единство стремлений этого пролетариата. И тому были достаточные причины. В присутствии исторического факта, который должен был проверить действительную силу этой многомиллионной организации, она оказалась бессильною не только помочь восставшему пролетариату Парижа материальным, вооруженным содействием внутри Франции и на ее границах, но даже вызвать в главных центрах скопления европейского пролетариата внушительные демонстрации в пользу Коммуны. Не излишняя централизация влияния, в которой уже начинали обвинять Генеральный Совет Интернационала, составляла существенный недостаток последнего, но недостаток влияния этого совета не только в местностях, отдаленных от его местопребывания, но и в самом Лондоне. Самое заявление Генерального Совета в пользу Коммуны (The Civil War in France) появилось уже после падения Коммуны

Таким образом, при первой действительной проверке силы Интернационала, как целесообразного орудия в минуту серьезной борьбы европейского пролетариата против его врагов, организация Интернационала оказалась несовершенной. При этих условиях раскол, возникший в среде Интернационала и касавшийся прав и круга действия Генерального Совета, мог иметь уже мало интереса для массы рабочих социалистов; при данном случае действительной борьбы и существовавшая организация Генерального Совета, которую обвиняли в избытке централизации власти, оказалась совершенно бессильною, следовательно, и ослабление этого органа могло иметь лишь теоретический интерес, и усиление его могло принести лишь гадательную пользу. Интерес к существованию международного союза ослабел. Не встречая действительной поддержки в равнодушных массах, ассоциация легко распалась под влиянием раздоров между руководящими личностями и спора о формах, едва ли имевшего особенно важное значение. Рабочим Европы, после опыта Парижской Коммуны, показалось, повидимому, недостаточным, чтобы Интернационал был, по выражению манифеста его Генерального Совета („Civ. War.“ 34), „лишь международным союзом наиболее передовых рабочих в разных странах цивилизованного мира“. События Парижской Коммуны показали, что великая идея организации Международного Союза Рабочих, чтобы явиться вполне практическою, должна была иметь под собою еще креп-

кое местное подготовление, при котором, вне общих начал рабочего социализма внесенных в знаменитое вступление в устав Международной Ассоциации, или выработанных на конгрессах последней, взяты были бы в соображение те особенности местных юридических, культурных и народно-психологических условий, которые неизбежно вносили в строй Интернационала более разнообразия, чем предполагал общий устав его. События Парижской Коммуны устранили иллюзию фиктивной силы Интернационала в том виде, как он существовал, и вызвали почти повсюду попытки выработать более прочную почву для действительной силы его в будущем.

Интернационал распался, но рабочие Европы не отказались от главных его заветов. Идея общих интересов для рабочих всех стран и неизбежной борьбы против общих врагов рабочего пролетариата осталась врезанною в мысль рабочего класса. Он понял истину слов только-что упомянутого Манифеста, что вызываемая правительствами вражда между нациями есть „лишь правительственное надувательство, с целью отдалить сословную борьбу, отбрасываемое в сторону, как только эта борьба вспыхивает в форме междоусобной войны“ (33); что „все национальные правительства *заодно* против пролетариата“ (33) и что люди, проникнутые сознанием этого единства интересов рабочих всех стран, истинные интернационалисты, должны „естественно стоять в первых рядах борющихся, если где бы то ни было, в какой бы то ни было форме и при каких

бы то ни было условиях, сословная борьба получит некоторую силу“ (34). В разных странах, где пустило корни движение рабочего социализма, закипела более чем когда-нибудь работа организации партии или революционной борьбы против врагов пролетариата. Здесь, на первом месте, приходится указать на то широкое развитие, которое получила немецкая социально-демократическая партия в последние восемь лет, развитие, на которое в значительной степени повлияли только что совершившиеся события Парижской Коммуны. На почве общего возбуждения рабочего класса мученичеством парижского пролетариата, на почве общего сознания опасности, грозящей пролетариату всех стран от буржуазии, которая всюду приветствовала радостными криками кровавые подвиги версальских палачей, социал-демократы Германии развили обширную рабочую прессу, организовали политическое рабочее движение, охватывавшее несколько сот тысяч избирателей и сплотились в партию, поглотившую все подразделения немецких социалистов. Мне очень хорошо известно, что один из наших молодых и самых талантливых социалистических писателей, в статье, помещенной в последнем (№ 8—9) номере „Общины“, высказал разнообразные недостатки, присущие тому способу организации партии, которому следовали в Германии. Я вовсе не имею в виду отрицать эти недостатки, но я знаю и то, что все существующие и непробованные способы организации имеют и, может быть, должны иметь свои особенные недо-

статки и неудобства, тесно связанные с их особенными качествами и удобствами: думаю, что способ организации немецких социал-демократов в значительной степени способствовал тому сильному и быстрому распространению их партии, которое имело место, а насколько он мог ослабить силу индивидуального убеждения и самостоятельную энергию членов под излишне строгим требованием дисциплины, это еще остается проверить в настоящем кризисе, который переживают социал-демократы Германии, кризисе, исход которого предсказать было бы слишком смело. Во всяком случае, сила движения социализма в Германии после Коммуны и после того, как немецкий пролетариат перестал ждать своего спасения от Международной Ассоциации, должна быть признана всяким беспристрастным наблюдателем: она проявилась и в создании в Германии, рядом с органами социалистической публицистики, нескольких органов научной обработки вопросов социализма (Приложение к „Vorwaerts“, „Zukunft“, „Neue Gesellschaft“). Весьма характеристическим проявлением этой силы должно признать и появление на кафедрах университетов, среди представителей официальной науки Германии, даже между личностями, которым первостепенные государства Европы доверяли министерские портфели, людей, которые в известной степени признавали требования рабочего социализма, делали ему разные теоретические и практические уступки и этим путем искали средств для устранения неизбежной социальной борьбы.

Между этими полу-социалистами и катедер-социалистами Германии находился и Шэфле, бывший австрийский министр, брошюру которого о социализме нашли возможным распространять даже социал-демократы Германии; находился и слепой философ, политико-эконом и полиграф Дюринг, совершенно открыто защищавший Парижскую Коммуну во втором издании своей истории политической экономии и социализма. Появление этой переходной литературы и ее бесспорное влияние на ходячие экономические понятия есть едва ли не столь же решительный признак роста социализма в Германии, как сотни тысяч голосов, поданных в пользу социал-демократических кандидатов в Рейхстаг при самых стеснительных условиях, или те меры против социализма, к которым теперь прибегает князь Бисмарк [1]). Чрезвычайно резко и прямо было действие Коммуны в Италии. Вследствие грозного памфлета, полного проклятиями, который Santo Maestro итальянской революции направил против

---

[1]) Когда я говорил это, издание „Freiheit“ было в самом начале, и нельзя было предвидеть того раскола, который вызвала и еще вызывает среди немецких социалистов та более резкая постановка социально-революционной программы, которую счел нужным этот журнал. Поэтому я не мог упомянуть об этом движении тогда. Считая лишним и теперь распространить сказанное в тексте, останавливаясь на совершенно новом элементе, которому придаю большую важность и который, как мне кажется, обещает много хорошего для будущности немецкого движения, доказывая, между прочим, что прежний характер этого движения зависел не от национального склада мысли, но от условий исторической среды (сент. 1879).

Коммуны, произошел решительный раскол между маццинистами и интернационалистами Италии. Бакунин отвечал брошюрою (La Théologie politique de Mazzini et l'Internationale): Гарибальди провозгласил, что „Интернационал—солнце будущего“. Быстрое и широкое социалистическое движение охватило всю Италию. Появилось (правда не надолго) несколько десятков журналов. Создавались повсюду секции. Борьба между маццинистами и интернационалистами быстро вызвала кровавые столкновения. Местный конгресс в Римини 6 августа 1872 года нанес первый удар единству Интернационала. Конгрессы принимали все более революционный характер. Задуманное в августе 1874 г. движение чуть не увлекло даже маццинистов, но было повсюду подавлено правительством. Впрочем, процессы, как всегда усилили лишь значение социалистического движения. Зато с тех пор раскол между пропагандистами и партиею бунтов ослабил движение, вызывая в то же время более критическое отношение к наиболее действительным средствам для подготовления революции. Ни та, ни другая партия не могли пока надлежащим образом выполнить своей програмы. Социалистическая пресса ослабела, и вспышки, подобные Беневентской, имели более значения по процессам, ими вызванным, чем сами по себе [1]).

---

[1]) В самое последнее время произошло сближение фракции итальянских социалистов: оно выразилось немедленно усилением социалистической прессы и обещает значительное усиление самого социалистического движения в будущем (май, 1880).

Тем не менее, появление и в Италии полусоциалистической литературы и парламентской партии (радикальных реформистов) доказывает, что буржуазный мир, преследуя социалистов, тем не менее, принужден был признать в значительной мере необходимость решить в социалистическом смысле многие современные вопросы общественного строя. Недавно еще столь влиятельная партия мадзинистов почти совершенно разложилась в последние 8 лет.

И в Испании события Коммуны дали сильный толчок социалистическому движению, которое собственно началось с революции 1868 г., так что в 1870 г. там существовало несколько социалистических органов, и на июньском конгрессе в Барселоне присутствовали делегаты от 40.000 рабочих. В конце года это движение примкнуло к Интернационалу. Вслед за Парижской Коммуной, испанское правительство поставило Интернационал вне закона, и это именно дало как бы сигнал к его широкому развитию в Испании. Конгрессы собирались явно на зло правительству (напр., в Сарагоссе в 1872 г.). Федерации и секции считались сотнями. Но 1873 год должен был выказать и силу, и недостатки социалистического движения в Испании. Парижская

[1]) В самое последнее время произошло сближение фракций итальянских социалистов; оно выразилось немедленно усилением социалистической прессы и обещает значительное усиление самого социалистического движения в будущем (мая 1880).

Коммуна, вследствие сложности элементов, участвовавших в ее движении, была для рабочего пролетариата самым крупным заявлением его требований, как самостоятельного общественного начала, но она, в то же время, была для федералистов буржуазии ярким заявлением и их идеи. И вот, под этим влиянием, началось одновременно сильное движение федералистов-республиканцев с одной стороны, интернационалистов—с другой, при взаимном недоверии и парализировании усилий, между тем как в среде самих интернационалистов, вследствие несчастного Гаагскаго конгресса 1872 г., раскол, соперничество и взаимное противодействие в виду общего врага достигли высшего предела. Ряд восстаний городов и героическая оборона инсургентов свидетельствуют о силе толчка, вызванного здесь событиями Парижской Коммуны, но печальный исход фатально должен был последовать за раздором врагов существующего общественного строя. Взаимные обвинения до сих пор так страстны, что всего вернее, кажется, и теперь еще воздержаться от суда над различными участниками этих событий. Позволительно думать, что чисто рабочим элементам восстания и тогда было и теперь осталось неясным, из-за чего происходили роковые раздоры между их предводителями. Во всяком случае исход был печален: республиканские федералисты, интернационалисты-приверженцы Гаагскаго конгресса и интернационалисты-анархисты были одинаково раздавлены республикою Кастеллара, которая очень скоро превра-

гилась и королевство Альфонса XII. Социалистическое и коммунально-федералистическое движение, вызванное в столь широких размерах событиями Парижской Коммуны, ослабело и до сих пор не может еще излечиться от нанесенных ему ран.

Усиление немецкого социалистического движения, вследствие обширности немецкой эмиграции в Америку, неизбежно отозвалось и там. Хотя именно там произошли в 1873—1876 годах самые печальные явления разложения централистического Интернационала, но тем не менее сильное возбуждение рабочего вопроса на почве, где право ассоциации и собрания еще представляет кое-что реальное, произвело свое неизбежное действие. Именно 1877 год дал миру в Соединенных Штатах пример вооруженного рабочего восстания, которое в несколько дней разлилось от одного океана до другого, показало, как бессилен современный строй против серьезной комбинации сил пролетариата, и лишь недостаток ясной и определенной экономической и политической программы помешал этому движению получить историческое значение.

Если в других странах в эти годы движение было менее значительно, а в иных (как в Англии и в Бельгии) положительно ослабело или вследствие особенно резкого разочарования в пользе международной связи (как в Англии), или вследствие столкновения на почве одной и той же национальности двух противоположных планов организации и деятельности Интернационала (как в Бельгии), тем не

менее нигде события Коммуны не прошли бесследно для рабочего пролетариата. Именно они вызвали более определенное отношение к задачам рабочего движения. На вопросе об отношении к движению Парижской Коммуны английские Trade-Unions отделились от Генерального Совета Интернационала вследствие этого их движение за последние годы стало уже и мертвеннее; эта узкость и мертвенность должны неизбежно привести к кризису, к обновлению, которое неизбежно выкажется *иным* отношением к событиям Парижской Коммуны. — Точно так же именно события Коммуны вызвали в Бельгии растущее сознание, что прежняя система действия Бельгийского Интернационала не была достаточно целесообразна. Неудачная и едва ли уместная в данную минуту попытка тайной революционной организации в 1873 году потрясла и деморализировала существовавшие прежде группы: в противоположность ей выдвинулась другая попытка перенести в Бельгию способ действия немецких социал-демократов в то самое время, когда этот способ и в Германии переставал уже соответствовать реальной политической почве [1]).

Можно сказать, что в Англии и в Бельгии, как в Германии и на юге Европы события коммуны

---

[1]) Мой взгляд на бельгийское движение не совсем сходится с тем, который высказан об этом движении самою компетентною в этом деле личностью в первой книжке „Jahrbuch fuer Sozialwissenschaft und Sozialpolitik". Но и прочтя эту весьма интересную статью (одну из лучших в издании), я не считаю нужным изменить что-либо из высказанного (сент. 1879).

явились сильным элементом брожения социалистических идей. Везде разлетелись иллюзии; везде пришлось избрать иной путь. Только в одних странах он быстро определился без колебаний и выказался более или менее крупными результатами. В других— наступил именно период колебания, шатания, отыскивания нового пути со всеми печальными проявлениями подобного периода.

Что касается до Франции, где совершились те самые события, которые явились повсюду столь могучим элементом брожения, конечно, Франция не могла проявить активно действия этого фермента. Ослабленная тройным кровопусканием казней и убийств массами, ссылок и эмиграции самой энергической части населения, под трусливым наблюдением кровавой республики Тьера, клерикально-монархической республики Мак-Магона и оппортунистской республики Гамбетты, Франция не могла ни двинуться, ни дохнуть свободно. Но не даром прошли и для нее эти годы. Они принесли рабочему классу разочарование в громких именах, в лицемерных друзьях народа. И для новой рабочей партии, понемногу организующейся среди прежнего израненного организма, как свидетельствуют некоторые статьи „Egalité", „Proletaire", отношение к Коммуне 1871 года является шиболетом, отделяющим *своих* от *чужих*, *друзей* от *врагов*. Луи-Блану, идолу пролетариата в 1848 г., едва ли поверит пролетариат 1879 г. с тех пор, как он подписал привет палачам Коммуны. Новый претендент

на руководительство судьбами Франции. Клемансо, может быть похитит власть и влияние в среде французских оппортунистов у Гамбетты, но должно надеяться, что рабочий народ Парижа никогда не забудет роль монмартрского мэра в 1871 г. В полемике о полной и неполной амнистии деятелям Коммуны участники этой полемики определяли свое будущее место в симпатиях парижского пролетариата. Как призрак Коммуны стоит все грозным привидением пред оппортунистами и реакционерами палаты и администрации, так этот же призрак, разукрашенный воображением, возвеличенный мученичеством, заслоняет теперь в глазах энергической доли французского пролетариата старую святыню 1793 года, и во имя *его*, под *его* красным знаменем совершится неизбежно первое народное движение, которое увидит Франция в будущем.

Итак, все народы Западной Европы имеют основание смотреть на Парижскую Коммуну 1871 года, как на крупного двигателя в своей собственной внутренней истории. Социалисты всех стран имеют право и обязанность приветствовать день, который обозначил решимость рабочего пролетариата сделаться самостоятельным деятелем истории. И социалисты всех стран понимают это. В ту минуту, когда мы ведем нашу беседу, предо мною два заявления, одно — исходящее от немецких социалистов, которые еще недавно так чуждались явного заявления революционных стремлений социализма, другое — появившееся в том самом Париже,

где, казалось, „кровавая неделя“ могла бы надолго запугать народные умы. То и другое приветствуют завтрашний день революционным кликом. Лондонская немецкая „Freiheit“ (№ 11) красными, кровавыми буквами пишет в своем специальном номере: „Мы взяли в руки старый испытанный барабан подавленного слова для вербовки: мы ударили тревогу революции, чтобы она зазвучала в хижинах и во дворцах, утешая одних и укрепляя их мужество, вселяя ужас в других... Бесцеремонно провозглашали мы истину, безжалостно выставляли тиранов и их лакеев к позорному столбу современной истории; энергически призывали мы рабочий народ к революции; насколько умели и могли, проповедывали красную республику, радикальный социализм: короче, во всех наших призывах к народу мы повторяли: полный бунт! новый бунт! — и наше слово нашло отзыв внизу и вверху. В то время, как слуги и сторожа рая и ада варварских деспотов, укрепленных за парламентом, изменившим народу, старались вызвать возмущение против нас и окончательно тратили свое бешенство в бессильных запрещениях, в это время выражали нам свое сочувствие пролетарии, истинные солдаты революции..... потому что мы говорили их языком, выражали то, что они думают и чувствуют“. — В этот же день парижский „Le Proletaire“ (№ 24) писал: „Мы апеллируем к суду истории, которая, более милосердная и более беспристрастная, объявит, что приверженцы Коммуны 1871 г. заслужили благодар-

ность родины и революции". И в другом месте: „пока не будет существовать равновесия в производстве, в обмене и в распределении имущества, будут повторяться июньские дни и дни 18 марта" [1])

Но едва ли для какой-либо страны годы, прошедшие после Парижской Коммуны, имели столь важное значение, как для России. Лица, оставлявшие Россию в 1870 г., имели перед собою страну, где оппозиционное движение как бы замерло или значительно ослабело со времени ссылки Н. Г. Чернышевского и особенно после реакционного террора, вызванного каракозовским делом. Может быть слишком резко выразился г. Аксельрод в своей талантливой статье, помещенной в последнем (№ 8—9) номере „Общины", говоря, что „со времен Чернышевского, Добролюбова", до 1873 г., „ни один энергический протест не раздавался из среды общества и литературы". Промежуточные звенья существовали. Если распространение „Колокола" в России очень ослабело в это время, если „Народное Дело" всегда мало расходилось там, если и деятельность

---

[1]) Прибавлю теперь и несколько слов из привета посланного Парижу 18 марта русскими рабочими из Одессы („Община" № 3—4, стр. 4—5): „Мы работаем на своей родине для той же великой цели, для достижения которой погибло в 1871 году на баррикадах Парижа столько ваших братьев, сестер, отцов, сыновей, дочерей и друзей. Мы трепетно ждем наступления той исторической минуты, когда и мы сможем ринуться в бой за права трудящихся против эксплоататоров за торжество умственной, нравственной и экономической свободы. Вы правы были, когда в 1871 году вы говорили, что сражаетесь за все человечество" (сент. 1879).

Интернационала в лучшие его годы оставалась очень мало известною в России, то внутри самой страны имели место явления, на которые было бы несправедливо совсем не обращать внимания. Конечно, в литературе эпоху господства влияния Писарева приходится признать шагом назад в равитии оппозиционной общественной мысли сравнительно с эпохой деятельности Чернышевского и Добролюбова, но рядом с этим были факты и иного рода. Довольно назвать известную книгу Флеровского, Самоучитель Худякова, романы Решетникова, а легко было бы указать и некоторые другие явления, не оставшиеся совсем без влияния и относящиеся к тем же годам. Припомним, что в это самое время появился русский перевод „Капитала“ Маркса, первая передача на иностранном языке этого руководящего произведения теоретического социализма. В общественном развитии этих годов нельзя забыть тех кружков, которые выработали Худякова, Ишутина, Каракозова, позже — людей, имена которых связаны с Нечаевским процессом. Тем не менее, бесспорно, что, несмотря на существование этих промежуточных звеньев между эпохой деятельности Чернышевского и Добролюбова в России, наиболее влиятельного периода „Колокола“ на западе и эпохой возрождения русского социалистического движения в 1873 году, десятилетие 1863—1873 г.г. было, вообще говоря, время глухое, томительное и обезжизненное. В 1870 году трудно было иметь надежду на быстрое возникновение сильного оппозицион-

цего движения. Тем не менее, оно произошло, и мне нечего напоминать моим слушателям об его размиве в последние годы. Русская социалистическая литература толстых томов, периодических изданий, брошюр для народа развилась значительно в не многие годы, и многие десятки тысяч экземпляров этой „подпольной“ литературы разошлись в пределах России, несмотря на опасности, которые угрожали распространителям. Рядом с этим в 1874 г. проявилось неслыханное и совершенно неожиданное по своим результатам „движение в народ“ с целью социально революционной пропаганды. Русские социалисты выставили из своих рядов целые сотни *людей дела*, мужчин и женщин, которые шли смело проповедывать истины социализма, вербовать им приверженцев среди народа, приготовлять в русском рабочем классе ту социально-революционную почву, которая одна может обеспечить ожидаемому перевороту успех и осуществление начал справедливого общественного строя. Русский социализм имел своих героев и своих мучеников. В немногие годы своей деятельности он заставил трепетать теперешнее правительство за собственную безопасность, принудил это правительство прибегнуть к тем безумным мерам реакции, которые всегда обличают отсутствие солидарности между правительством и обществом, указал воочию безнадежное разорение русского крестьянина, лживость прославленных реформ начала шестидесятых годов и насущную потребность для всех мыслящих русских обратить не

медленное внимание на те экономические опасности, которые угрожают во всех отношениях нашей родине. В своих героях и мучениках русский социализм доказал, сколько энергии еще хранится в сонном царстве России, когда в нем поднимается знамя, способное воодушевить искренних и мыслящих людей. Выдвинув группу молодых талантливых писателей социалистической прессы, он доказал, сколько литературных дарований остаются неизвестными лишь потому, что не могут пригнуться до уровня трусливых намеков и цензурного оскопления, которые принижают мысль и чувство в дозволенной прессе: авторы обзоров рабочего движения во „Вперед", „Переходного момента" и „Итогов социально-демократической партии", а в „Общине", авторы „Хитрой Механики" и „Внушителя словили", авторы „Записок Южно-русского социалиста" и украинской „Паровой машины" завоевали себе видное место в русской публицистической литературе, независимо от взглядов, ими проводимых, и указали, какие замечательные литературные силы скрываются в рядах молодых социалистов последних годов.

Но влияние социализма не ограничилось этим. Если добросовестные романисты сороковых годов, во имя художественной истины, должны были признать, может быть и неохотно, что единственные честные и искренние типы политических деятелей в России в настоящее время приходится брать в рядах социалистов-революционеров, то и вся серь-

сная литература общественных знаний в России носит на себе явную печать социалистических задач. Конечно, я по весьма понятным причинам, не назову ни одного имени, не сделаю даже ни одного указания, но надо быть слепым, чтобы не видеть в серьезной русской литературе явление, параллельное немецкому катедер-социализму, но может быть еще более многозначительное. В этой серьезной русской литературе точно так же отсутствует революционный и агитационный элемент, точно так же видно стремление предотвратить кровавый и бурный взрыв, найти средства примирить то, что социалисты-революционеры прежде всего признают непримиримым, найти исход путем мирных уступок и соглашений там, где мы не видим никакой возможности ничего подобного. Но русская серьезная литература, как мне кажется, более искренно и более беспристрастно относится к этим жгучим вопросам, чем немецкие ученые примирители и гармонисты. Во всяком случае для меня бесспорно одно: под влиянием возрождения социалистического движения 1873 г., русская экономическая и историческая наука фатально и неизбежно поднимает вопросы социализма и, позволяю себе думать, столь же фатально и неизбежно все искренние ее представители должны будут притти к социалистическим решениям этих вопросов.

Но мне скажут, что это социалистическое движение в России произошло само собою, вследствие обстоятельств и побуждений, нисколько не зависе-

шихъ отъ событій Парижской Коммуны, и что по тому едва ли правильно связывать возрожденіе русскаго соціализма съ фактами Коммуны. Я признаюсь, что не могу прослѣдить точно связь между этими двумя группами фактовъ, и не стану пытаться доказывать путемъ натяжки то, что доказать убѣдительно не могу. Но для меня лично сотня мелкихъ фактовъ и впечатлѣній сливаются въ несомнѣнное убѣжденіе, что эта связь существуетъ, и что русское соціалистическое движеніе 1873 и слѣдующихъ годовъ было косвенно вызвано впечатлѣніемъ, произведеннымъ и на русскіе умы событіями Парижской Коммуны. Во всякомъ случаѣ фактъ ея появленія вызвалъ необыкновенное вниманіе къ существующимъ экономическимъ явленіямъ и къ историческому процессу ихъ подготовленія. Фактъ ея паденія подъ разлагающимъ вліяніемъ революціонно-якобинской рутины почти на столько же, на сколько и подъ оружіемъ версальцевъ, вызвалъ болѣе здравое отношеніе къ идеаламъ первой революціи и также къ возможности гармонировать идеалы болѣе или менѣе радикальныхъ партій буржуазіи съ задачами рабочаго пролетаріата. Это событіе, наконецъ, научило и насъ, русскихъ, многому тому, что безъ него осталось бы, можетъ быть, незамѣченнымъ.

III. Поучительные выводы.

Какое же поучение могут извлечь из фактов Парижской Коммуны для себя, для укрепления или для исправления своей программы, те различные оттенки друзей русского народа, о которых я упоминал в начале своей беседы?

Прежде всего, конечно, я имею в виду тех, которых считаю своими товарищами, которые видят единственный исход из настоящего положения дел в социальной революции, которые посвятили свою деятельность ее подготовлению тем или иным способом.

Во-первых, социалисты-революционеры могут, наравне со всеми другими партиями действия, извлечь из этой мрачной истории поучение: мало быть энергичным и преданным делу,—надо быть к нему *готовым*. Организовать партию под выстрелами неприятеля, при бурях борьбы на площади, во время политических столкновений с другими готовыми и организованными партиями, обыкновенно бывает слишком поздно, и социалисты Коммуны 1871 г., главным образом, пострадали от этого. Они не были

готовы, когда Седан свалил 4 сентября империю, хотя казалось бы, со времени мексиканской экспедиции, можно было достаточно ясно видеть признаки разложения империи, и в громадном распространении „Propos de Labienus“ и „Lanterne“, в речах, которые раздавались со времени допущения публичных собраний, в резких статьях „Марсельезы“ и „Reveil“ трудно было не заметить приближения распадения власти Наполеона III. Социалисты не были готовы и 31 октября, когда обстоятельства временно дали им возможность парализовать противника. Они не были готовы даже 18 марта и, когда начавшееся движение само отдавало ход событий в их руки, они еще колебались, насколько им следовало вмешаться в это движение. Когда же Интернационал решился принять деятельное участие в деле Коммуны, как в *своем* деле, сплачивание личностей с социалистическою программою происходило медленно и постепенно (см. стр. 136 и след.) и совершилось окончательно лишь к маю, т.-е. когда почти все было уже потеряно. Да и в чем выразилось тогда, по словам самих участников, происшедшее, наконец, сплочение партии?—в *отрицательном* действии; в том, что ее приверженцы *отказались* от участия в действиях Комитета Общественного Спасения.

Мы видели, откуда вышел этот недостаток сплочения, этот недостаток положительного влияния социалистов Коммуны на ее деятельность, и нам приходится теперь, для получения надлежащих вы-

водов, резюмировать сказанное уже в очерке фактов истории Коммуны.

Мы видели, что социалисты не решились провести сейчас же своей экономической программы и были настигнуты революцией, не образовав партии, не выработав *своей* политической программы действия. Это сделало их бессильными в борьбе с их противниками, якобинцами-рутинерами, которые имели готовую программу действия, хотя и негодную, так как она черпала все свои данные из традиции конвента, вполне чуждой экономических вопросов нового времени и нового распределения политических сил в нации. Якобинцы предлагали положительные меры, хотя и рутинные, а социалисты ограничивались отрицательным противодействием этим мерам, не предлагая ничего взамен. Это все повело к бессилию социалистической партии в Коммуне, и, в значительной степени, к расстройству всего движения. Из этих фактов социалисты всех стран,—следовательно, и социалисты русские могут извлечь немаловажные поучения.

Никогда и ни при каких обстоятельствах социалисты не имеют права забыть, что в настоящую эпоху исторической борьбы экономический вопрос примирует над всеми прочими: что пока экономический переворот не совершен во всех главных основах *ничего не сделано*: пока рабочий пролетариат не перестал быть пролетариатом, продающим свои силы за заработную плату и имеющим пред собою и над собою подавляющую силу капитала

до тех пор „революция пролетариата“ не совершилась. В настоящее время нет почвы ни религиозной ни национальной, ни политической, на которой рабочие пролетарии могли бы и имели бы нравственное право пойти на сделку с господствующими классами или с какою-либо их долею. Как только исторические комбинации доставят пролетариату хотя бы временную победу, он должен совершить прежде всего *экономическую революцию*. Как бы ни была недостаточна и нестройна первая попытка нового порядка, уже то одно, что она совершится сознательно и решительно, будет важным завоеванием. Артиллерия пролетариата, это—„социальная идея“. Если победа пролетариата упрочится, то он будет иметь достаточно времени, чтобы улучшить эту первую попытку рядом реформ более или менее мирных или крутых: ничто не появляется зрелым с первого момента существования: все должно пройти чрез ряд фазисов развития и созревания; но действительные революции полагают начало новым органическим типам, и развитие, происходящее в новом типе, не имеет уже ничего общего с развитием старого. Если бы даже революция пролетариата была подавлена, то потрясение в самых его основах старого экономического строя, даже временное, не может остаться без важных последствий. За революцией против представителей старого предания, старых общественных форм могут следовать, как прежде бывало, и цезари-диктаторы и даже реставрации. Но ни возвратившиеся Стюарты и

Бурбоны, ни диктатуры новых Кромвелей и Наполеонов не в состоянии восстановить прошлое, *как оно было*. Всякая реставрация будет носить в себе следы совершившейся революции и зародыши новых революций *в этом же направлении*, как первая. Ниспровергнутый, хотя бы временно, порядок экономической собственности и монополии уже не восстановится *совсем как был*, когда его потрясет *настоящая* революция пролетариата, и после своей починки он будет хранить в себе трещины, которые неизбежно поведут его к разрушению. Дело не в крутых или в кротких мерах, не в терроре или в любвеобилии к врагам. Дело—в мерах *действительных*. Артюр Арну сказал совершенно верно (II, 159): „Ни насилие, ни умеренность не составляют принципов... *Надо делать, что нужно*. Вот все“. В минуту, когда исторические комбинации позволят рабочим какой-либо страны, хотя бы временно, побороть врагов и овладеть течением событий, рабочие должны теми средствами, которые будут целесообразны, *каковы бы ни были эти средства*, совершить экономический переворот и обеспечить его прочность, насколько это будет возможно. Все остальное должно находиться в зависимости от этой *главной* задачи.

Для этого приходится иметь свою *готовую* организацию и *готовую* программу политического действия. Мы видели, что отсутствие предварительного соглашения, предварительного сплочения, сделало социалистов Коммуны бессильными в борьбе

с соперниками. Не буду повторять сказанного уже о недостатке организации, но остановлюсь теперь лишь на следствиях недостатка программы политического действия.

Социализм Интернационала представлял в эпоху Парижской Коммуны 1871 года высшую точку развития общественной идеи и ограничивался требованием, чтобы рабочий класс *сам* завоевал себе господство над существующим экономическим строем. Но вопрос о том, как на *практике* достичь этого господства, оставался по необходимости неопределенным. Карл Маркс развил великую теорию фатального экономического процесса, вызывающего капитализм на смену низших ступеней хозяйства и создающего затем, руками самого капитализма, рабочий пролетариат, в котором растет для капитализма неизбежный враг, а в будущем—и победитель. Интернационал выработал убеждение, что рабочая партия не должна иметь, при обыкновенном ходе своей деятельности, ничего общего с политическими партиями буржуазного строя, что она должна поставить себе *свои* цели, должна иметь *свою* политику. Но как поступать в случае фактического восстания—парижские интернационалисты колебались. Многие из них считали, что политическая борьба должна быть чужда Интернационалу. Они концентрировали и хотели концентрировать свою деятельность на экономических вопросах. Они не имели политической программы для данного случая. Что же вышло? За неимением ясного, практического

понимания, выступила на сцену рутина, с ее тысячу раз повторенными клише. Полная свобода для рабочего класса устроиться, как ему угодно, полная свобода мысли и прессы; семья, основанная на факте привязанности и сочувствия, а не на факте обряда и юридического заявления; таковы были общие, давно уже повторяемые положения, идеи, выработанные в полемике партий и принятые общественным мнением" по приведенному выше (стр. 216) выражению Миллера. Но приходилось осуществлять новый строй среди борьбы, которая шла тут же; приходилось разрушать и строить сейчас же при разнообразных условиях этой борьбы. Враги были не только в Версале, но и тут подле, в богатых кварталах, в рядах избирателей; в рядах чиновников Коммуны, при помощи которых приходилось осуществлять ее распоряжения; в рядах национальной гвардии, которая составляла единственную материальную поддержку нового порядка. Надо было иметь готовую программу действия на подобный случай, возможность которого легко было предвидеть. Надо было быстро создать эту программу, связав ее практические меры принципиально с задачами рабочего социализма, и энергически, во имя этих принципов, как начала высшей социальной справедливости, указать практический путь колеблющейся массе, которая нисколько не была обязана, в своей безвыходной борьбе за существование, выработать сама себе решение для трудных вопросов, представляемых комбинациями теоретических принципов

с историческими условиями данного времени. Представители начал Интернационала были нравственно обязаны выставить эту программу действия, как представители в данную минуту самой высшей ступени развития социальной идеи. Они нравственно обязаны были предложить готовую систему практических мер, которые могли быть исправлены, приспособлены к обстоятельствам автономиею и суверенным решением парижского пролетариата, но которые, как *система,* им выработаны быть не могли. В подобных случаях партия, которая выработала или, по крайней мере, убеждена, что она выработала—передовые взгляды на организацию общественной силы, не имеет нравственного права оставаться при отрицательных началах всеобщей свободы и всеобщего права обсуждения существенных вопросов минуты. Во имя того, что обстоятельства благоприятствовали *ей,* что они позволили *ей* выработать более высокое развитие, она нравственно обязана выступить с программою дела, чтобы обеспечить от врагов почву дальнейшего развития. Люди, борющиеся за осуществление лучшего будущего для человечества, не имеют права колебаться и „сомневаться в себе“ в минуту, когда они призваны к действию. Велики или малы их силы, они должны смело нести все эти силы на дело, которому служат. Совершенны или несовершенны их программы, за неимением лучших, они должны решительно осуществлять эти программы, предоставляя будущему исправить их недостатки. Дело идет не о

декретировании, не о навязывании какой либо программы, но о предложении ее в определенных, практических формах, и об употреблении всех усилий на ее проведение в дело, как первого, хотя бы несовершенного кадра для организации силы. Если бы Мильер, Варлен, Лефрансэ, Артюр Арну, Верморель выступили, согласившись между собою, в народных собраниях с готовою практическою программою социального переворота; если бы — как оно, вероятно, и случилось бы — к ней немедленно примкнуло большинство рабочих Парижа, большинство национальной гвардии, они бы разом отняли главную долю силы у своих противников, либералов-примирителей и якобинцев, поклонников традиции 1793 года. Но у них не было согласия, не было уверенности, не было достаточно знания, не было общей программы. В минуту действительного столкновения партия без программы бессильна. Она может восторжествовать, может стоять у кормила движения, но она никогда не будет в состоянии дать ему направление. Когда приходится действовать и нет людей, которые, во имя более передового и более смелого развития своей мысли, указали бы новый путь действия, то неизбежно, фатально, действие должно совершаться по всегда готовой, привычной рутине старых приемов. В решительные исторические моменты массы всегда пойдут за тем знаменем, на котором написана наиболее определенная программа, наиболее простые, ясные и определенные цели: массы пойдут за теми, кто готов и

не колеблется. Если же никто не удовлетворяет этому условию, если сильные, искренние люди из так называемой интеллигенции колеблются, то фатально и неизбежно масса пойдет по какому-либо старому рутинному указанию, отвернется от новых решений, новых идей, и самые героические подвиги, самая самоотверженная энергия предотвратит возвращения к старому злу в несколько измененной форме. Пусть помнят это наши *народники*.

Но для вероятности успеха в минуту действительной борьбы недостаточно ясного понимания экономических и политических задач социализма, недостаточно определенной общей программы действия. Борьба имеет свои технические условия, и партия действия должна заботиться о том, чтобы в ее рядах были люди, способные победить технические препятствия, которые представит минута действительной борьбы. Экономический переворот, который должен лежать в основании всякой общественной перестройки, не может ограничиваться принципами и общими приемами: в каждой местности он должен совершиться, взяв в соображение действительное положение дел в его частностях, приспособляя основные принципы и общие приемы к существующему распределению материальных средств и рабочих сил: иначе говоря, экономический переворот в каждой отдельной местности может совершиться с наименьшим количеством страданий и с наибольшей выгодою для массы рабочего населения лишь на основании самого точного знания экономической статистики данной местности.

Но нельзя сомневаться, что самый успех переворота, в особенности же прочность этого успеха зависит от того, чтобы он совершился при наименьшем количестве страданий и с наибольшею выгодою для рабочего класса, поддержка которого составляет единственную силу всякого социалистического строя. Поэтому необходимо, чтобы в среде социалистических партий находились в каждой местности люди, вполне усвоившие экономическое положение этой местности, во всех его подробностях. Необходимо, чтобы в каждой местности люди, посвятившие себя на подготовление социальной революции, составили, под руководством личностей, наиболее усвоивших это экономическое положение, специально примененный к данной местности план перераспределения экономических сил и немедленного приведения их в действие вслед за совершившимся переворотом. То, что хотела делать „Комиссия инициативы" Парижской Коммуны (см. стр. 205) во время самой бури революции и междоусобной войны, должно быть повсюду подготовительною работою социальной революции, если ее подготовители хотят, чтобы она совершилась без громадной и совершенно ненужной растраты экономических сил и не при бесчисленных страданиях большинства того самого рабочего класса, в пользу которого и силами которого эта революция совершится.

Но еще настоятельнее для успеха борьбы представляется, может быть, потребность в людях с техническим знанием военного дела, и факты исто-

рии Коммуны служат самым положительным подтверждением этой насущной потребности. Если бы социалисты Коммуны могли выставить с самого начала искусного в своей специальности и в то же время искренне преданного их идеям руководителя военным делом, то самые грозные опасности для Коммуны могли бы быть устранены или значительно уменьшены. Так как, при всех возможностях хода социальной революции, фактически, материальная борьба в больших или меньших размерах, при той или при другой обстановке, есть не только самое вероятное, но почти неизбежное явление, то социалистам приходится к ней готовиться, приходится накоплять военное знание, понимание военной техники, вырабатывать в своей среде в направлении военной техники тех личностей, которые чувствуют к этому способность. Опять-таки и в этом направлении приходится *готовиться* к борьбе, приобретать *знания*.

Ограничусь еще только одним пунктом. История Коммуны, в записках ее крупных деятелей, показывает не раз, как значительны были уступки которые приходилось делать товарищам: как, вследствие этого, неосторожность одних беспрестанно парализовала все усилия других, вредила и им и общему делу, подрывала нравственное влияние личностей и нравственное значение всего хода событий. И чем, вследствие этого, меньше внутренней силы чувствовали в своей партии ее заметные представители, тем крупнее были еще другие уступки, которые приходилось им делать—эти уже были неиз-

бежны уступки, вызванные фактическою обстановкою, в которой совершалось движение: уступки буржуазному элементу, тесно смешанному с восставшим пролетариатом, уступки патриотическому чувству, раздраженному предшествовавшей войной, уступки общественным предрассудкам. Итак, в корне этого ряда вредных явлений мы находим те уступки, которые приходилось делать товарищам по делу, и подобные явления должны неизбежно повторяться при крупном историческом движении: в присутствии врагов, в самом процессе борьбы очищать партию от вредных элементов крайне трудно и опасно; слишком часто это приводит окончательно к 9 термидору, к директории и к цезаризму. Когда раз окончательная борьба началась, история сковывает всех ее представителей общею солидарностью и ответственностью, от которой оторваться почти невозможно. Недостаток готовности, недостаток организации, недостаток правильного выбора, недостаток сближения наиболее искренних, понимающих и энергичных, на общем плане действия неизбежно отзовется при самой борьбе роковыми потрясениями. Всего более, может быть, бросил тень на Коммуну неосторожный выбор в ее среду недостойных людей, неосторожные и нерассудительные действия некоторых ее членов, помешать которым их товарищи или не могли, или не решались. Если безумие Люлье и несчастная вылазка 3 апреля решили, можно сказать, с первых же дней фактическую судьбу Коммуны, то кто может взвесить удары, нанесенные

ее нравственному значению неосторожною деятельностью Рауля Риго и Ферре, или теми взрывами аффекта, которые их група позволила себе в последние дни существования Коммуны? Мы видели (стр. 93), как высоко ценил Бержере нравственный удар, нанесенный движению расстрелянием генералов Лекомта и Тома, когда еще в Париже не существовало никакого организованного строя. И все эти события, все эти материальные удары и нравственные подрывы зависели от того, что состав групы личностей, поставленных во главу движения сначала в Центральном Комитете, потом в Коммуне, был не результатом развития и торжества одной партии с определенной програмой, но результатом сближения совершенно чуждых друг другу личностей, выдвинутых лишь одним побуждением, господствовавшим при выборах, именно общим недовольством против господствующих классов и смутным убеждением избирателей, что тот или другой член Коммуны выражает лучше других кандидатов это недовольство. Между тем, эти люди, выбранные в столь важную и опасную минуту, несли общую ответственность, были коллективно солидарны и должны были *вместе* действовать. К этому следует прибавить, что к отсутствию гармонии и общности ясных целей в целом составе Коммуны еще прибавилось то неудобство, что каждая група, сближенная общими целями, имела в своей среде личностей крайне разнообразных по умственному и нравственному достоинству и развитию; между тем, каждая група

еще в большей мере несла ответственность за действия каждого из своих членов, а в борьбе групп за влияние на дело и за преобладание, каждой группе приходилось сильно дорожить каждым из своих членов, следовательно, быть снисходительною к тем его ошибкам, которые прямо или косвенно подрывали силу и значение всей группы, всей Коммуны и общего дела.

Эти факты могут напомнить социалистам-революционерам весьма избитое правило, но тем не менее крайне редко соблюдаемое: осторожность при выборе товарищей. Его громадное значение обнаруживается особенно в ту минуту, когда уже поздно им руководствоваться; в минуту, когда надо *действовать* и когда приходится действовать с тем персоналом, который налицо. Потому-то в период составления этого персонала нельзя быть достаточно осторожным и внимательным. Когда партия выступает на историческую арену, на решительную борьбу под внимательным наблюдением врагов, соперников и индифферентистов, когда она должна завоевать своей программе место среди руководящих принципов общества, тогда самые жестокие, самые опасные удары, которые могут быть нанесены партии, — суть удары, наносимые ей нравственною несостоятельностью ее членов. Опасны не только изменники: опасен всякий, кто своими общественными или даже частными действиями кладет пятно на партию. Каждый из нас должен помнить, что, как член партии, он вредит ей всяким своим необдуманным поступком: что каждое

частное дело его может пасть на ее ответственность. Каждый должен помнить, как член партии, что своим сближением с теми или другими личностями, своими личными связями, он может или вредить своему знамени, или поддерживать его. Там, где, как отдельная личность, как частный человек, он мог бы быть снисходительным, ему приходится быть строгим, как члену партии. Ему приходится преследовать тех паразитов социализма, которые, живя на счет чужого труда, говорят о создании царства труда; приходится отталкивать тех безобразников социализма, которые в пьянстве, в кулачных расправах и в развратных оргиях топчут в грязь имя социализма, и его знамя. Враги наши зорко следят за нами, жадно ловя всякий случай, который дал бы им повод с каким-нибудь действительным правом обрушить на нас обвинение или насмешки. И мы должны быть зорки. Мы должны друг друга подкреплять в тех, неизбежных в каждом, слабых сторонах каждого, которые в опасную минуту могут быть гибельны для общего дела. Мы должны искоренять в наших кружках взаимным товарищеским влиянием то, что может бросить тень на партию, может уронить в грязь наше знамя, может повредить общему делу.

В то же время мы должны строго и внимательно следить за тем, кто *наш* и кто *не наш*. Мы должны ясно сознавать, где кончается лагерь социалистов и где начинается лагерь хищников. Всякая уступка хищникам, всякая, хотя бы косвенная,

служба хищническому делу, есть не только нравственная распущенность: это — вред нашему делу. Мы можем победить лишь тогда, когда поставим резкую границу между нашим и чужим лагерем. Одно из главных завоеваний Интернационала в отношении политики социализма заключалось в усвоении убеждения, что невозможен союз между партиею рабочих социалистов и всеми другими партиями, которые называют себя более или менее демократическими, более или менее радикальными, более или мене преданными интересам массы, оставаясь тем не менее на почве старых политических или экономических задач. Наше дело — просто и ясно: мы должны все подготовлять социальную революцию как бы мы ни расходились между собою во взглядах на способы ее подготовления. Мы должны бороться всеми нашими силами со всеми ее врагами, где бы они ни находились и какое бы название на себя ни принимали. Здесь, говоря о сделках с лицами и началами, уже не принадлежащими к социально-революционному направлению, мне всего уместнее и обратиться к группам, отличным от социалистов-революционеров.

Перехожу прежде всего к людям, более или менее горячо сочувствующим требованиям рабочего пролетариата, более или менее ясно сознающим то разложение, к которому идет современное общество, следуя нынешним его экономическим и политическим принципам; но это сочувствие, это сознание еще не дошло в них, может быть, до определенного убе-

жления,— к которому все мы, полагаю, пришли не разом, а постепенно, помимо собственной воли, вследствие слишком ясной невозможности противного — до убеждения в невозможности примирения, соглашения, уступок, какой-либо гармонии между двумя социальными лагерями, которые поставила одни против другого история. Эти надеющиеся на путь для нас уже невозможный, на решение для нас немыслимое, могут также найти поучение в судьбе Парижской Коммуны. И там, как мы видели, были примирители, которые хотели уладить борьбу рабочего восстания; и там были буржуа, которые, оставаясь в другом лагере, выражали свое сочувствие Коммуне, свое порицание действиям версальского правительства. Но каков был результат деятельности этих примирителей, этих сочувствующих? Одни из них оказались или изменниками, или явными врагами парижского пролетариата; другие—самыми вредными его друзьями. Мэры и депутаты Парижа своею примирительною, деморализующею деятельностью лишь дали возможность версальцам опомниться, собраться с силами, устроить армию, в первую минуту вполне деморализованную. В минуту опасности и серьезной борьбы не оказалось в Париже этих „друзей“, а впоследствии их имена украшали приветствие армии, совершившей подвиги „кровавой недели“. На их совести, на совести тех, которых имена так блистательно фигурируют теперь в самых радикальных журналах Парижа, лежит ответственность за эту „кровавую неделю“. Их примиритель-

ные попытки, их утопические надежды парализовали деятельность парижской революции в те самые дни, когда быстрая решимость, неуклонная энергия в действии одна могла дать шансы торжества движению, неожиданному для большинства участвовавших в нем настолько же, как и для его противников: движению, которое лишь быстротою развития, энергиею своей экспансивности и решительностью в минуту деморализации врагов могло завоевать себе симпатию Франции, более изумленной этим фактом, чем усвоившей себе его значение. Что произошло бы, если бы в первые же дни, вместо примирительных попыток, фатально обреченных с самого начала на неуспех, эти Луи-Бланы, Клемансо и как их там зовут, стали бы, подобно Делеклюзу, во главе этого нового народного движения: если бы, не колеблясь ни минуты, все „друзья народа“ примкнули к самому крайнему знамени, хотя бы оставляя за собою в душе право впоследствии влиять в направлении уступок и соглашения? Что произошло бы, если бы в эти первые дни, в эпоху деморализации и ужаса в Версале, при отсутствии сколько нибудь надежной армии у Тьера, экспансивная сила парижского движения разогнала версальских представителей „мира во что бы то ни стало“, оскорбителей Гарибальди, идиотических адептов невозможного легитимизма и архаического клерикализма и скрепила бы связь Парижа с другими большими центрами Франции?—Ответить положительно на этот вопрос было бы слишком смело. При дан-

ном персонале старեющих представителей социализма 1848 г., будущих соперников оппортунизма 1879 г. и всяких фразеров радикализма, конечно, решение фатально должно было выпасть так, как оно выпало. Но, при несколько большей искренности сочувствия к пролетариату, при несколько большем понимании действительного отношения враждующих партий, решение *могло бы* выпасть иное, и тогда „кровавая неделя“ не имела бы места, и история последних лет во Франции была бы иная.

Социальная борьба слишком серьезна, чтобы допустать соглашения, примирения, уступки. Между миром старой эксплоатации трудящихся, теми, которые живут чужим трудом, и новым миром всеобщего труда, примирения нет, не может и не должно быть. Всякий, кто пришел только к тому, что рабочий социализм есть, как теория,—истина, как план будущего строя—желательный и справедливый общественный строй, не имеет уже права колебаться в своей жизненной деятельности. Всякий, кто знает, что в грозном столкновении пролетариата с капиталом правда—на стороне пролетариата, не имеет уже нравственного права ограничиться словами поэта „неведомому богу“:

Против тебя отныне я не воин!

Он должен *положительно* служить богу, которого божественность признал; должен решительно отречься от старых симпатий и привычек, должен изменить свою жизнь; должен стать в ряды борющихся, или

он должен ясно сказать себе: я буду жить наперекор собственным своим убеждениям.

Но другим страшен не решительный разрыв рабочего социализма со всем старым миром, не самоотвержение, требуемое новым учением, а революционный путь, начертанный социализмом в его настоящем фазисе, призыв к борьбе, к крови. —Пусть и они внимательно вглядятся в историю Парижской Коммуны. Разве ее представители хотели крови? Разве они не прибегали ко всем казавшимся возможными средствам для устранения столкновения мирным путем? С 19 марта по 21 мая, как мы видели, „не пало ни одной головы, не пролито ни одной капли крови“ внутренних врагов Коммуны. Много ли она выиграла от этого? Разве так называемые историки, публицисты и ораторы противной партии принимают сколько-нибудь в расчет это мирное настроение, эти мирные попытки, так долго и упорно длившиеся! Разве в воспоминании противников Коммуна не осталась нераздельно связана с резкими решениями, никогда не перешедшими в дело, со взрывами страсти, имевшими место прежде установления в Париже какого бы то ни было организованного строя или во время отчаянной борьбы последних часов существования Коммуны?—Желание мирного исхода, отвращение от насильственных мер, от кровавых катастроф совершенно естественно во всех мыслящих людях, тем более, что кровавые эпизоды всегда усиливают раздражение в обществе, нисколько не облегчая решение

общественных вопросов. Но история беспрестанно ставила и ставит лицом к лицу интересы, аффекты, убеждения, которые примирены быть не могут и все попытки к примирению которых лишь увеличивают число жертв, а не уменьшают его. В известные исторические минуты страсти человеческие совершенно сдержаны быть не могут. Раздражение, вызванное прошедшим, слишком напряжено. Всегда найдутся в партии единицы, которых аффект поведет к насилию, к убийству, и в глазах врагов, в глазах посторонних, личный поступок неизбежно падет на общую ответственность. Если наши враги защищают интересы или убеждения, от которых мирным путем отступиться, по всей вероятности, не могут, то именно те люди, которые дорожат человеческою жизнью, человеческою кровью, должны стремиться организовать возможность быстрой и решительной победы и затем действовать как можно быстрее и энергически для подавления врагов, так как лишь этим путем можно получить минимум неизбежных жертв, минимум пролитой крови. В настоящем общественном строе выгоды, которыми пользуется господствующее меньшинство, слишком значительны, чтобы существовала для предстоящей социальной борьбы хотя малейшая надежда добровольной уступки этих выгод: их будут отстаивать всеми силами; мы должны знать это и должны к этому готовиться. Да разве когда-либо обладатели господства в обществе уступали это господство, не отстаивая его кровью? Разве можно было ожидать,

что версальское собрание уступит даже самым скромным требованиям Парижа, если не будет к тому принуждено? Разве можно было думать, что собрание самых тупых и упрямых представителей всех отсталых партий Франции поймет требования парижского пролетариата? Разве не Версаль начал борьбу? А если борьба, кровавая, насильственная борьба была неизбежна, разве она не ограничилась бы меньшим числом жертв, если бы была ведена энергически и быстро с самого начала? Если бы Версаль был занят 20 марта, если бы после победы парижан—а она тогда была возможна—и после совершившегося в Париже радикального экономического переворота, явились в города Франции эмиссары Париж с „призывом к беднякам“ и быстро собрался конвент, опирающийся на вооруженные коммуны рабочего пролетариата по всей Франции — разве больше пролилось бы крови для осуществления постановлений этого конвента, чем пролито ее в „кровавую неделю“? Всякий переворот, совершающийся во имя прогрессивной идеи, выгоднее совершать путем выступления на врага, чем путем самозащиты. Воображение противников, как воображение посторонних зрителей, еще не затронутых движением, должно быть поражено энергиею и быстротою действий сторонников нового порядка, прежде чем убеждения последних могут представиться логическою истиною и нравственною правдою тем, которые еще колеблются. Когда раз мы убедились, что между нами и врагами нашими мира быть не

может, что они не могут нам уступить добровольно то, чего мы требуем, и когда мы уверены, что будущность человечества зависит от успеха наших начинаний, то во имя человеколюбия, ввиду доведения числа неизбежных жертв до минимума, мы должны наносить удары смело, быстро и решительно, именно потому, что мы боремся за будущность человечества.

Я обращаюсь теперь к тем, которые еще ищут истины, еще колеблются признать ее в програме рабочего социализма. Старый либерализм имеет такую длинную, такую блестящую историю, таких чистеньких героев, такие привычные уже формулы. Новый социализм так враждебен, повидимому, тому, что мы привыкли считать блеском цивилизации; его приверженцы часто грубы и невежественны; его поступки далеко не всегда отличаются благоразумною и расчетливою политикою; в числе его крупных представителей мы встречаем часто имена совсем неизвестные; выбор их бывает иногда весьма неудачен; между ними встречаются и люди недостойные. С насмешкою или с укором перебирают в своих комфортабельных кабинетах имена погибших, побежденных, заклейменных коммунаров, равнодушные или раздраженные продукты старой цивилизации. Не мудрено, что многие свежие и искренние умы, выработанные этой самой цивилизацией, останавливаются в недоумении и спрашивают себя: неужели же *здесь* истина? — „Прочь варваров!“ восклицал обвинитель в процессе Пассананте. И давно

[illegible] этой [illegible] капиталистической цивилизации. И у вас пугачевщину обыкновенно выставляют лишь с ее кровавой стороны! Сравнение с варварами, ниспровергнувшими античный мир, империю цезарей, давно уже употребляется в применении к современному социалистическому пролетариату.—Да, капиталистический строй должен пасть. Но вы, искренне ищущие истины, вглядитесь внимательно в него. Не он ли сам выставил на вид свое собственное обличение? Не он ли обратил все отрасли жизни цивилизованного мира в борьбу спекулянтов за обогащение, в борьбу всех имеющих что-либо за наживу, в борьбу трудящихся за существование? Разве социализм вызвал явление пролетариата, фатально разрастающегося? Разве социализм вызвал безобразную биржевую спекуляцию, колоссальное биржевое мошенничество, позорные и гибельные биржевые кризисы? Разве ненависть рабочего к капиталисту не развивалась фатально из того положения, в которое стал капиталист относительно рабочего? Разве самые учения социализма, сначала утопические, потом более и более научные, не питались и не питаются фактами, доставленными этим учениям самим капитализмом? Разве проповедь революционного социализма имела бы малейшую возможность успеха в массах, если бы ненависть к эксплоататорам не подготовила для нее удобную почву? Разве июньские дни 1848 года, разве Коммуна 1871 года были бы

чиновник без той пропасти, которую капитализм вырыл между трудом и службой между господствующими классами и рабочим пролетариатом? Разве социализм вызвал продажность в государственных учреждениях и в отношениях, составляющих самую интимную жизнь человека? Посмотрите на этих спекулирующих и грабящих депутатов, министров, великих князей; посмотрите на брак, обращенный в куплю и продажу: на проституцию, которая сделалась общественным учреждением. Ответьте сами себе искренно на вопрос, может-ли излечить современное общество капитализм, который с каждым годом вызывает новое разрастание этих болезней? Спросите себя: есть ли у него средства устранить из общества ту фатальную резню и конкуренцию, которые мы замечаем всюду? И после того прислушайтесь к социализму с его учением солидарности между всеми трудящимися, с его требованием, обращенным к каждому его сторонннику: „отдай все твои силы труду для общественного блага и ты имеешь право получать от общества все необходимое для твоего существования и для твоего развития“. Вникните в ту тесную, реальную связь, которая существует между этим учением солидарности трудящихся и действительными условиями труда с его многочисленными, взаимно-зависящими разветвлениями. Припомните те многочисленные примеры, относящиеся к самому последнему времени: примеры самоотвержения полуголодающего рабочего, который из своей скудной платы высылал деньги на

помощь еще более голодающим товарищам, на помощь стачечникам за „общее рабочее дело“, на помощь агитации, результатами которой он лично имел очень мало шансов воспользоваться: примеры самоотвержения задавленного налогами и притеснениями русского крестьянина, который готов был страдать с „миром“ и стоять за „мир“ до последней возможности. Если вы точно искренни, когда говорите, что ищете *правду* логическую и нравственную, то после этого сравнения капитализма, бессильного при своем всемогуществе перед растущим общественным разложением, с рабочим социализмом, уже теперь, в элементарном, часто бессознательном своем состоянии, проявляющим силу солидарности, спросите смело свою совесть: где истина?— Ваша совесть ответит вам.

Мне осталось сказать несколько слов тем, которые уже не колеблются, прямо объявляют себя противниками социализма, но провозглашают смело свою любовь к народу и свою решимость помочь его бедствиям теми средствами, которые представляет нынешний общественный строй в его экономическом и политическом развитии. Они объявляют нас еретиками, врагами и обманщиками народа. Они утверждают, что оставаясь верны своей традиции экономического и политического либерализма или авторитета, они выведут страждущие массы из страны мучения и дадут им возможность человеческого существования, сохраняя все основные начала старого мира. Они—демократы-славянофилы, демокра-

ны защитники, но они смеются и возмущаются, когда слышат о претензии социалистов изменить самые основы существующего общественного строя. Я не стану прилагать к ним те названия разбойников, мошенников, безумцев, которыми они так охотно осыпают противников, в особенности же коммунаров. Я нахожу совершенно естественным, что „старый мир корчился в конвульсиях бешенства при виде красного знамени, символа республики рабочих, развевающегося на ратуше“ („Civ. War“, 21.) Я не стану и аргументировать против них. Я даже охотно укажу им путь, которым они доказали бы —если могут—исторически, что они правы, провозглашая себя истинными людьми народа. Я и перед ними разверну мрачную историю Парижской Коммуны. Пусть они попробуют сравниться с теми, которых осыпают ругательствами. Пусть сумеют внушить народу доверие к себе. Пусть около них встанет, как встало 2 апреля, накануне первого нравственного удара, нанесенного движению 18 марта, 200.000 вооруженного народа около неизвестных переплетчиков, сапожников и ювелиров, которые были выдвинуты во главу движения. И пусть они дадут в настоящее время такой список героев и мучеников, какой дали их деды в конце XVIII века, такой список героев и мучеников, какой дала Коммуна. Пусть у них хватит энтузиазма, чтобы пасть как Делеклюз, как Варлен, как Мильер, как Ферре. И эти люди заблуждались, ошибались, я не скрыл этого; не скрыл, насколько они своими заблужде-

правдами и ошибками вредили общему делу. Но они умели положить душу за свое знамя. И теперь, среди партии русского социального движения, немало людей с искренним убеждением, неспособных победить слабости своего характера; немало заблуждающихся и ошибающихся, которые гниют в казематах, которых уже схватила или ждет каторга, которые станут или уже стали под пули палачей, под веревку виселиц. Дело их товарищей, дело их партии указывать на их недостатки, на их заблуждения, на то, чем и насколько они вредят собственной партии. Но для наших противников, для наших либералов, трепещущих пред презрительным словом министра, для наших кабинетных демократов, чурающихся названия социалистов, эти люди — недоступные герои. Попробуйте, сосчитайте их, скажем мы, и затем найдите в своих рядах хотя бы десятую долю этого числа таких людей, которые готовы жертвовать всем, готовы погибнуть за свое убеждение; тогда мы померяемся. В борьбе партий за представительство исторического будущего лишь той принадлежит будущее, которая умеет приносить жертвы. Сторонники Парижской Коммуны ошибались и заблуждались во многом. Много укоров могло бы быть сделано им со стороны приверженцев рабочего социализма, но только со стороны их. Пред так называемыми „друзьями народа“, неспособными принести ему никакой жертвы, неспособными даже поставить на карту свое себялюбивое я во имя того, что они смеют называть своим убеждением, пред

этими карикатурами демократизма. Парижская Коммуна 1871 года есть нечто настолько великое и могучее, несмотря на все ее ошибки, недостатки и заблуждения, что эти люди обращаются пред нею в историческое *ничто*.

Я кончил и преклоняюсь не пред кумиром Парижской Коммуны, но пред тем крупным историческим явлением, когда пролетариат впервые решился быть *собою* в минуту успешного восстания; пред явлением, в котором рабочие социалисты всех стран, независимо от всех различий и раздоров, могли признать и признали свое *общее* дело, повторяя с манифестом Генерального Совета Интернационала („Civ. War.“, 34): „Во все времена будут превозносить рабочих Парижа с их Коммуною, как славных предшественников нового общественного строя. Их мученики включены в святыню великого сердца рабочего класса. Их убийц история уже пригвоздила навеки к позорному столбу, от которого не в состоянии избавить их никакие молитвы их священников“.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

